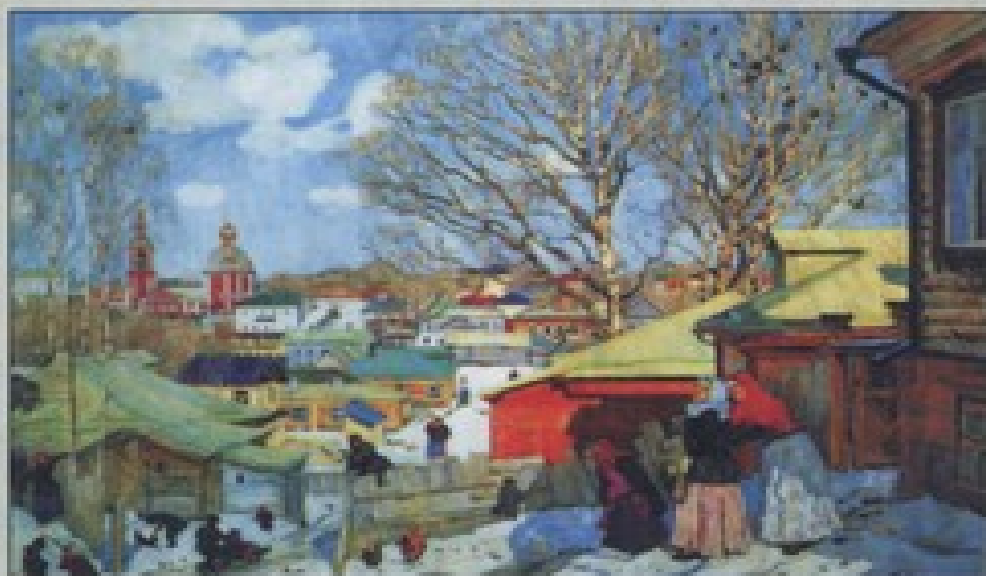


СИМВОЛЫ



ВРЕМЕНИ

ВЛАДИМИР САННИКОВ



ЗАПИСКИ ПРОСТОДУШНОГО

Annotation

Эта книга — правдивый и бесхитростный рассказ о детстве и юности автора, которые пришлись на трудные военные и «околовоенные» годы. Не было необходимости украшать повествование выдуманными событиями и живописными деталями: жизнь была ярче любой выдумки.

Отказавшись от последовательного изложения событий, автор рисует отдельные яркие картинки жизни Прикамья, описывает народную психологию, обычаи и быт, увиденные глазами мальчишки.

Написанная с мягким юмором, книга проникнута глубоким знанием народной жизни и любовью к родному краю.

В. З. Санников — известный филолог, доктор филологических наук, автор работ по русскому языку и его истории, в том числе «Русский каламбур», «Русский язык в зеркале языковой игры».

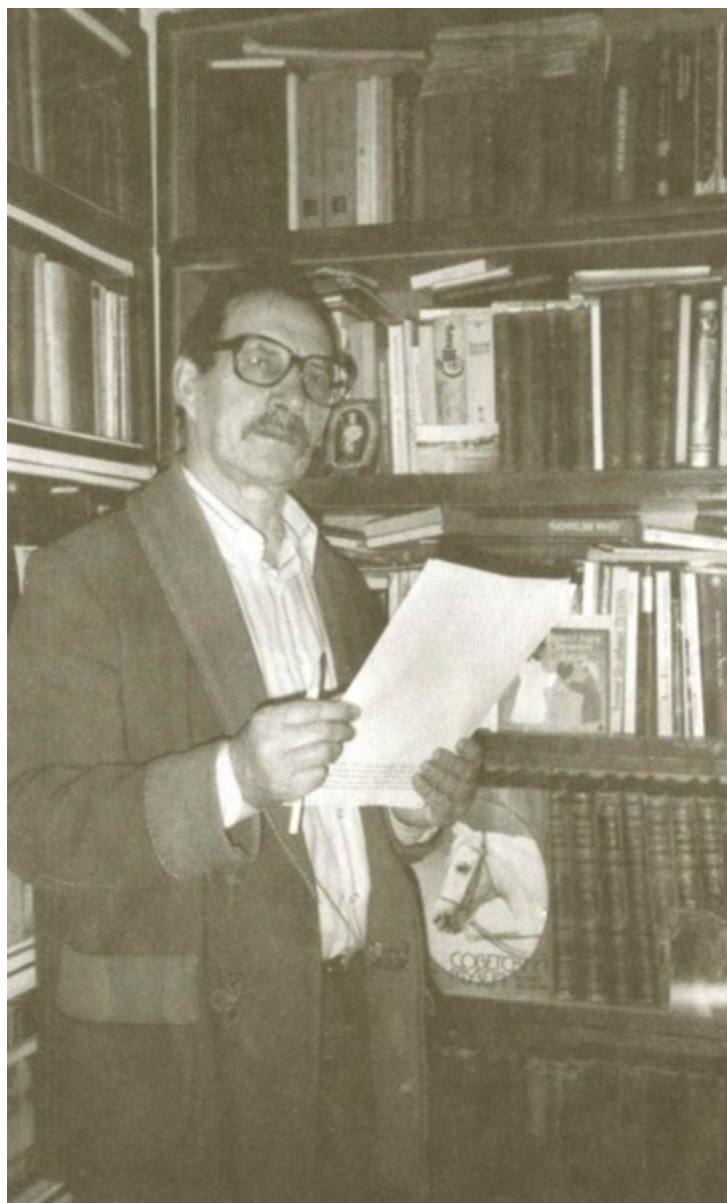
-
- [Владимир Зиновьевич Санников](#)
 -
 - [Картинки моего детства](#)
 -
 - [МОЯ РОДОСЛОВНАЯ](#)
 - [АКИМ НИКИТЬЕВИЧ САННИКОВ](#)
 - [БАБУШКА УСТИНЬЯ](#)
 - [НИКОЛАЙ НИКАНОРОВИЧ ЛАГУНОВ](#)
 - [ЖЕНИТЬБА МАМЫ И ПАПЫ](#)
 - [ПЕРЕЕЗД В ВОТКИНСК](#)
 - [НОВАЯ ЖИЗНЬ](#)
 - [ЯЗЫКОВОЙ БАРЬЕР](#)
 - [РАННИЕ ВОСПОМИНАНИЯ](#)
 - [ПАПА И МАМА](#)
 - [БРАТЯ И СЕСТРА](#)
 - [ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ](#)
 - [БАНЯ](#)
 - [НАШИ ИГРЫ](#)
 - [РЫБНАЯ ЛОВЛЯ](#)

- [ПТИЧКА](#)
 - [ОПАСНЫЕ ИГРЫ](#)
 - [«КЛАДЫ»](#)
 - [ПРАЗДНИК В ВОТКИНСКЕ](#)
 - [ЦЕРКОВЬ](#)
 - [КНИГИ](#)
 - [«СВЕТЛЫЕ ИДЕАЛЫ СОЦИАЛИЗМА»](#)
 - [ДВА ШИШГУТА](#)
 - [ШКОЛА](#)
 - [БОЛЕЗНЬ И СМЕРТЬ ОТЦА](#)
 - [ВОЙНА](#)
 - [ПИТАНИЕ, КАРТОЧКИ](#)
 - [ШКОЛА В ГОДЫ ВОЙНЫ](#)
 - [КАНИКУЛЫ](#)
 - [ШКОЛЬНЫЕ БУДНИ](#)
 - [«ТРУДЫ И ДНИ»](#)
 - [ЗОРЬКА](#)
 - [СЕНОКОС](#)
 - [ТАРАКАШКИ, КЛОПИКИ, ВОШКИ-БЛОШКИ](#)
 - [НОВЫЕ ИГРЫ](#)
 - [МУЗА](#)
 - [В ДЕРЕВНЕ](#)
 - [ПРАЗДНИК В ДЕРЕВНЕ](#)
 - [РАЗГОВОРЫ, РАЗГОВОРЫ...](#)
 - [НЕМЦЫ](#)
 - [ПОБЕДА](#)
 - [ЮНОСТЬ](#)
 - [ИЛЛЮСТРАЦИИ](#)
-

Владимир Зиновьевич Санников

Записки простодушного

Милым моим детям — Оле и Андрею



Владимир Зиновьевич Санников, 2000

Родные мои! В минуты душевной «благостности» я рассказывал вам о своем детстве и юности. Хотя жизнь моя была избавлена (слава Богу) от необычайных потрясений и приключений, но я чувствовал ваш живой интерес к моим рассказам и желание сохранить их в вашей памяти. Быть по сему.

Может ли написанное представлять интерес для кого-то еще? Воспоминания интересны, если это воспоминания людей известных или о людях известных. Ни к одному из этих разрядов мои воспоминания отнести нельзя. Но относятся они к военным и «околовоенным» годам, интерес к которым, наверное, никогда не угаснет. Многие самые яркие, самые драматичные эпизоды этих лет запечатлены в романах, фильмах, мемуарах, но для создания целостной картины, может быть, представляют интерес будни далекого от войны Прикамья, где прошли мои детство и юность.

Бунин приводит старое мудрое изречение: «Вещи и дела, аще не написании бывают, тмою покрываются и гробу беспамятства предаются, написании же яко одушевленнии...»

Картинки моего детства



Думаю, вы согласитесь, что о детских годах дворянских недорослей XVIII–XIX веков мы имеем более живое, ясное представление, чем о детстве наших современников.

Хотите пережить еще одно, военное, детство, сравнить его со своим, понаблюдать за другой эпохой, другими нравами и обычаями, довоенным и военным бытом? — Милости просим.

Главное (может, единственное) достоинство моих заметок — их фактографичность. Даже все имена и фамилии — подлинные. Бунин, один из любимых моих писателей, признавался, что почти ничего не помнит о своем детстве, отрочестве. Странно, но я, человек с памятью отнюдь не идеальной, многие картинки детства помню очень хорошо, так, будто было это только вчера. Ручаюсь, что в этих заметках нет не

только эпизода, но даже и мелкой детали, придуманной, вставленной для «оживления рассказа». Достоверность многих из приводимых эпизодов могут подтвердить мои воткинские родственники, друзья, знакомые.

С умолчаниями — сложнее. Несколько эпизодов, крайне тяжелых, я опускаю...

Пытался было я пригладить, «причесать» речь моих родичей — бывших крестьян, но тотчас переставал их чувствовать... Их и без того уже бледные лица совсем стирались из памяти. Не могу я заставить маму говорить *што* (а не *чо*), *ребятишки* (а не *робетишка*), *очень* (а не *больно* или *шибко*).

МОЯ РОДОСЛОВНАЯ

Предки мои с обеих сторон — и Санниковы и Лагуновы — крестьяне прикамской Пермской губернии.

Хранить память предков как-то не было принято. Глубже третьего-четвертого поколения родовая память не копала — если не было чего-то уж крайне необычного. У нас в роду сохранилось лишь предание о моем прапрадеде-богатыре (а может, он был и прапрапра...). На узкой зимней дороге он не захотел уступить дорогу встречному обозу и в завязавшейся потасовке спихнул обоз (людей вместе с лошадьми и санями) в глубокий снег. Возмущенные мужики пожаловались на «фулюгана» в суд, но ничего не добились, кроме сраму. «И не стыдно вам семерым на одного жаловаться?» — будто бы сказал судья и потом добавил, обращаясь уже к ответчику — прапрадеду моему: «Иди, русский богатырь, но пусть удаль и сила твоя тратятся не на озорство, а во славу Государя и Отечества нашего!»

Кроме этого его «богатырского подвига», достойного Васьки Буслаева, известен еще один, тоже весьма сомнительный (нам рассказывала о нем мама).

В деревне, где жил прапрадед, стали пропадать овцы. «Ну, видно волки балуют!» — думали мужики попервоначалу. А потом подозрение пало на пришлого мужичка, Родиона, и мужики, нагрянув под водительством прапрадеда моего в его избу, нашли у него спрятанные в бочке и прикрытые сверху квашеной капустой шкуры украденных овец. Мужичок забился с топором в подполье: «Не

подходи, убью!» Предок мой нацарапал что-то на листке бумаги (может, грамотный был) и кричит: «Радивон! Выходи, ничего тебе не сделаю, только акт подпиши!» И жена мужичонки тоже кричит: «Выйди, Радивон, выйди да распушился!» (тут мама поясняла: «Они откуль-то приехали, вот она и говорила чудно: не *роспишился*, а *распушился*»). Мужик бросил топор, вылез. Его схватили, повели по улице и на глазах всей деревни забили насмерть — почему-то досками (может, чтобы следов не оставалось?). Жестоко? Еще бы. Но — я уверен, что никто из деревенских ребяташек, которые всё это видели, никогда на воровство не пошел. И потом, в предвоенные и даже военные годы в деревнях пермских воровства не было (если не считать воровства лошадей цыганами). Идешь летом по чужой деревне и можешь заходить в любую избу. Никаких замков. Только кой-где к дверям прислонен батожок — знак, что хозяев нет дома.

Вернемся, однако, к прапрадеду. Увы, сила рода нашего ушла, видимо, на этого богатыря. Природа решила, что допустила тут некоторый перерасход, и стала экономить на следующих поколениях — все предки мои по отцовской линии крепки, жилисты, но не отличались ни ростом, ни особой физической силой. Вот духовной — это да.

АКИМ НИКИТЬЕВИЧ САНИКОВ

Дед по отцу, Аким Никитьевич, старовер (старообрядец) воевал и в Русско-японскую, и в Первую мировую войну, был контужен, засыпан в окопе землей и, несомненно, погиб бы, если бы не откопал его односельчанин, Манойло. Этот Манойло запомнился нам, ребяташкам, громадной рыжей бородой и тем, что, выпив на деревенских гулянках, пел одну и ту же странную песню:

Чёрт призвал сапожника — жареные брюки...

Когда мы, дети, впервые увидели деда, мы чуть ли не попрятались под кровать — перекошенное лицо, один глаз незрячий, громадный, красный, другой — маленький, едва видный сквозь сморщенные веки. Но столько доброты и ласковости было в нем, что очень скоро мы

перестали замечать его уродство. Как мы радовались, когда он приезжал в Воткинск из деревни! Когда он ложился отдохнуть, сухонький, пахнущий сухими травками, мы со всех сторон облепляли его, стараясь если не лечь рядом, так хоть рукой до него дотянуться. А он гладил нас, никого не обходя вниманием, и рассказывал что-нибудь: про японскую войну или как «в германскую» отступали они в жару из Пруссии, и воды не было, и ноги стерли до крови, и уж не было сил бежать...

И уже тогда поражала меня его незлобивость. Его, немало послужившего России, инвалида, георгиевского кавалера, всю жизнь травили большевики. Но и к ним, и к совершённом ими «октябрьскому перевороту», и к насажденному ими строю относился он с философским (точнее — христианским) спокойствием.

Помню эпизод, в конце войны или вскоре после войны. Лошадь у деда уже продана (налоги задушили), корова еще не продана, но кормить-то ее — нечем! Мы с дедом косили по каким-то полянкам в лесу — тайком. Никому они не нужны, полянки эти, но косить запрещалось (как же — колхозная собственность! Буквально — «собаки на сене!»). Подсохла наша трава, пора сгребать сено, а тут — дождь. Дождались мы ясной погоды, подсушили сено (хотя оно уже второго сорта, подмоченное) — и снова дожди, да затяжные. И гниет наше сено... Дождались, однако, солнышка, снова переворошили, подсушили сено, идем сгребать его в стог — снова дождь, и сильный! Всё! Теперь уж пропало сено, сгнило. Чем же корову-то кормить? И вот тут дед преподал мне (не в первый и не в последний раз) жизненный урок, который я пронес (увы, не очень успешно ему следуя) через всю жизнь. Переждали мы ливень под деревом. Солнце, словно издеваясь, выглянуло полюбоваться на нас и на погибшее наше сено. Дедушка говорит: «Ну, дак чо, Вова? Чо Бог делат, всё к лучшему!» И это не была бравада какая-то, а всё вполне искренне. Пошли домой. Зовёт меня: «Давай-ко, милой сын, вон там, я знаю, земляничник есть, давай ягодками полакомимся!»

И ведь все-таки сохраняется в России этот душевный склад, мудрое отношение к жизни, покладистость эта. Вот хотя бы мой товарищ, сотрудник НИИ «Информэлектро» Саша С. Показательная деталь. Послали нас (в добровольно-принудительном порядке) осенью в совхоз на уборку урожая. Возвращаемся с ним как-то с

картофельного поля. Я предлагаю: «Ну, что, Саша, может, в Бронницы съездим?» Он охотно соглашается: «Едем, что здесь-то торчать?» Поразмыслив, я говорю: «Да знаешь, Саша, неохота что-то ехать, устали!» Он отвечает: «Правильно! А что мотаться-то? Нас и отсюда никто не гонит!»

Простите, отвлекся. Вслед за лошадьё деду пришлось продать и корову, заменить ее козой. Подвыпивший дед шутил: «Вот спасибо добрым людям — научили жить! Раньше горбателися со скотиной, а теперь хорошо — ни забот, ни хлопот. Одна у меня — коза-барыня. И сами как баре — спи не хочу!»

И вот так же, как к стихийному бедствию, относился он (и его односельчане) к «перевороту», к советской власти — терпеть надо («Бог терпел и нам велел!»). Терпеть надо, но идти на поводу — ни-ни! И когда наступила коллективизация, вся эта деревня (Пески, Еловского района Пермской области) отказалась идти в колхоз. Вся. Дедушка рассказывал, как на них давили: «Ну, собрание. Выходит уполномоченный, револьвер на стол: „Ну, чо, мужики? Куда пойдём, в колхоз или в Соловки?“ А мы говорим: „Ну, дак чо? В Соловки, дак в Соловки!“» И не пошли эти старообрядцы в колхоз, и никогда там, в этой деревне, «хамхоза» не было. Других примеров я во всей нашей многострадальной родине не знаю. И чудо — даже в Соловки большевики этих староверов не сослали. Нашлись, видно, люди, которые понимали, что невозможно так сразу ввести в «новую светлую жизнь» этих староверов, которые и старый-то дореволюционный мир принять не успели, застряли где-то в XVII веке, даже ткацкие фабрики считали бесовским измышлением и носили только домотканую одежду.

Но землицу-то отняли у староверов — в пользу соседнего колхоза, оставили только огороды и по клочку пашни (потом и ее отняли). И вот началось соревнование двух систем. Старообрядцы-единоличники из бедной деревни с плохими песчаными землями (отсюда и название — *Пески!*) жили гораздо лучше, чем колхозники из соседней деревни (когда-то богатой и к тому же присвоившей их земли). Дед, например, сообразил (ничего не зная о науке), что нужна «узкая специализация». В палисаднике поставил ульи, а почти весь огород отвел под лук (такого крупного лука я не видел даже на показушной социалистической выставке ВДНХ). Продавал мед и лук на рынке в

Воткинске, и это спасало не только его, но и нас, его внуков, от голода в военные и послевоенные годы.

Прямо скажем: пчелы — соседи не идеальные. Помню, пьем летом чай (не цейлонский, не индийский, не грузинский даже — из травок или из сушеной моркови приготовленный), но на столе — миска с сотовым медом. Миска полна пчел, вокруг пчелы летают — ульи-то под окном, в нескольких метрах. Пчелы резких движений не терпят, поэтому мы с дедом и бабкой двигаемся как в замедленной киносъемке — медленно отделяешь кусочек меда и медленно, в несколько приемов, «с пересадками» доставляешь его в пункт назначения — в рот. Бывало, жалили, хотя и редко. Раз пчела ужалила меня в переносицу, и у меня заплыли оба глаза: чтобы видеть, приходилось пальцами приподнимать веки (как Вий: «Поднимите мне веки!»).

БАБУШКА УСТИНЬЯ

Бабушка Устинья была неродная. Что заставило ее, видимо, привлекательную, статную девушку, выйти замуж за маленького, тихонького вдовца, отца троих сорванцов, по красоте сопоставимого с Квазимодо, — остается лишь гадать. Может, она, как и мы, оценила его душу, даже и для людей его веры не совсем обычную? Как родных детей вырастила она папу и его братьев, как к родным внукам относилась к нам. Дай Бог всем такую заботливую и ласковую бабушку, как наша «мама-стара» (так у староверов, возможно, только в наших краях, было принято называть бабушку; мать называли «мама-молоденька» или просто «мама»; отца — «папка»; дедушку — «батё»).

Что еще о бабушке, о маме-старе, рассказать? Считалась она в этой старообрядческой деревне знахаркой — лечила травками и заговорами и людей, и скотину. Изба — как у колдуньи: по стенам и на потолке — пучки душистых травок от всех болезней. Я и братья, пионеры, а потом правоверные комсомольцы, на лечение травками смотрели свысока, с высот современной науки, а на заговоры — как на предрассудки и суеверия. И вот представляется нам случай внести вклад в борьбу с суевериями. После первого курса университета (Пермского, тогда Молотовского) приезжаю я с братьями в Пески, к деду и бабке. Смотрит как-то мама-стара на мои руки и говорит: «Чо

это, у тебя, Овонька (=Вовонька), руки-те все в бородавках, такие страшнущие?» — «Да вот, — говорю, — и выковыривал, и кислотой выжигал. Не помогает». — «Дак давай я выведу!» — «А как?» — «Да заговорю!» Переглянулся я с братьями и, с трудом удерживая смех, уселся на лавку — бородавки заговаривать. Бабушка взяла деревянный ухват от печки и, усевшись рядом со мной на лавку, принялась водить пальцем то вокруг бородавок, то вокруг сучочков на ручке ухвата (точнее, вокруг круглых следов от этих сучочков), приговаривая: «Как эти сучочки вывелися, так чтобы бородавки у Вовы вывелися!» Пошептала так, пошептала и отпустила меня. И 40 лет не было у меня ни одной бородавки. Теперь вот опять появились, но бабушки уж нет — их заговаривать.

НИКОЛАЙ НИКАНОРОВИЧ ЛАГУНОВ

Другой мой дед, со стороны матери, тоже воевал в Первую мировую, но вернулся домой (деревня Мартьяново Пермской губернии) цел и невредим. И вообще был ловок, удачлив. В годы нэпа его большая семья жила в достатке. А потом посыпались на него беды. Нёс клокочущий самовар, и над столом, за которым уже сидела семья, оторвалась ручка и хлынувший кипяток обварил маленькую дочку. Повез на лошади в ближайшую больницу в Вассяты (7 верст) и не довез... Потом во время родов умерла жена, и дед остался с пятью детьми. Потом — коллективизация. Узнав, что местная беднота («нероботь») собирает его, вдовца с пятью детьми, раскулачивать, бросил всё и уехал в город (Воткинск). Но деревенская «нероботь» и тут не оставила его в покое. Видимо, в сговоре с местной, городской «нероботью» несколько раз ночью, пугая детей, врываются они в дом деда и искали золото и деньги. Даже в подполье всю землю не раз перерыли. Ничего не нашли, но еще больше обозлились на ускользнувшего от них «кулака». И когда на родине деда застрелили председателя сельсовета, то, не мудрствуя лукаво, обвинили в этом моего деда, хотя он жил уже в городе, до которого добираться — больше суток.

Рассказывал дед, как сидел в какой-то камере и каждую ночь открывалась дверь и выкрикивали фамилии: «Дёмин, Кочнев! Выходи!» А потом он слышал крики и выстрелы и ждал каждый вечер,

что выкрикнут его фамилию: «Лагунов, выходи!» Этого, однако, не случилось, послали его в лагерь, не помню на сколько лет. Там, работая на стройке, дед упал с крыши большого дома. Повезло — упал на доски. Они спружинили, и это спасло деда. Но он повредил позвоночник, и его «списали», отправили домой. Старшие родственники мои вот уже в 2000 году рассказали, как выглядела эта гуманистическая акция: привезли деда на телеге и сгрузили у ворот дома — получайте своего кулака! Больше года он был прикован к постели, а потом родственники достали ему (с большим, мама говорила, трудом) жесткий кожаный корсет, и он стал понемногу ходить. Освоил плетение корзин, этим и жил. Даже женился, но — укатали сивку крутые горки. Сохранился в моей памяти нервным, суевливым, горбатым старичком. От прежнего бравого николаевского солдата (сохранилась фотография), первого парня на деревне, уверенного и удачливого молодца, рачительного хозяина, не осталось и следа... Впрочем, остался след: его энергичность, ловкость, общительность сохранились в его детях, особенно в моей маме.

ЖЕНИТЬБА МАМЫ И ПАПЫ

Затрудняюсь вспомнить людей более несхожих, чем мои отец и мать. Общее, пожалуй, только одно — трудолюбие и добросовестность. А в остальном — ничего общего.

Маленькая, крепкая, веселая, очень общительная и живая, мама казалась моложе своих лет. «Ой, Сима, — говорили ей, — ты у нас бегашь, как девка!», на что мама неизменно отвечала шуткой: «Ну, сватья, маленька собачка до старости шшенок!» Отец — прямая противоположность: обстоятельный, замкнутый, молчаливый.

Всю жизнь я наблюдаю — с интересом, иногда с болью — за борьбой во мне этих двух характеров. Эта борьба шла с переменным успехом: в студенческие годы явно побеждало материнское начало (не потому ли студенческие годы остались лучшими годами моей жизни?), но со временем возобладал во мне обстоятельный, замкнутый, мрачноватый отец...

И вот мои родители, два таких несхожих человека, встретились и решили пожениться, хотя препятствий, кроме несходства характеров, было много, и главное препятствие — разная вера. Мама —

православная, никонианка, «мирская», а отец — старовер, из деревни, истово блюдущей древнее дониконовское благочестие и противящейся всему новому и всем чужакам. Даже из одной посуды с «мирскими» есть не могли.

В студенческие годы в диалектологических экспедициях мы избегали старообрядческих деревень. Еще бы! Как сейчас помню: в жару просим попить. Старуха несет нам кружку воды, зажав ручку запонком (передником). «Да нет, бабушка, нам горячую не надо!» — «Пейте, и так не горячая!» Это она держала кружку не рукой, а передником, чтобы не осквернить руки «поганой», специально для «мирских» заведенной посудой. И представляю, какой эффект произвело заявление моего отца, что он хочет жениться на «мирской» из соседней деревни Мартьяново! Однако бабка и дед решительно препятствовать этому браку (как сделали бы многие их единоверцы) не стали.

И вот приходит мама в Пески — деревню, в которую раньше она и заходить-то избегала, в семью староверов. Чувствовала себя не очень-то уютно, после нам рассказывала: «Сперва мамонька (свекровь) надо мной маленько мудрялася: то не так, это не так. Вот садимся мы ись (есть). Встану это перед иконами, а мамонька так и глядит — как креститься буду, двумя перстами или тремя? Ну, я душой кривить не хочу, крещусь как наученная, по-нашему, троеперстным крестом. Ну, мамонька губы подождет, а молчит». А дальше — хуже, обиднее: для еды давали маме отдельную миску. В деревне ведь в это время (да даже и после войны) семья ела из одной общей большой миски, стоящей посреди стола. Отдельно староверы кормили-поили только «иноверцев», включая сюда и христиан-мирских. Для этого (напоминаю) и особая, «поганая» посуда была. Вот из нее-то мама и ела. Но разве можно было не полюбить маму — за удивительную ловкость в работе, за легкий и веселый нрав? И однажды во время еды не выдержал дедушка: «Чо вы ей как собаке в каку-ту черепеньку наливаете?» И — человек дела — швырнул «черепеньку» под порог. «Ешь, мила дочь», — сказал он маме, указывая ложкой на общую миску. Эта выброшенная «черепенька» была для мамы чем-то вроде меча при посвящении в рыцари — новая семья приняла ее.

ПЕРЕЕЗД В ВОТКИНСК

Родился я в 1931 году, уже в Воткинске, куда «гонимые ветрами социалистических перемен» бежали, бросив дома и хозяйство, мои родственники. Старая жизнь для них кончилась. Началась новая, городская.

Воткинск — небольшой прикамский, приуральский город. Впрочем, прикамским и приуральским его можно назвать с оговорками: Кама — в 15 километрах от города, а Уральские горы и совсем далеко. Но уж слегка морщат они, далекие эти горы, нашу землю, и как же украшают ее эти «морщины» — высокие холмы и глубокие лога! Стоишь где-нибудь за городом на высоком угоре (холме), и далеко-далеко видно вокруг, и расчерчена эта даль плавными линиями других холмов: на ближнем холме зеленый лес, за ним (над ним) — ярко-желтый квадрат цветущей горчицы, и с другой стороны — зеленый луг с белыми и темными точками — пасущимися коровами, а еще дальше (и выше) — опять лес, но уже не зеленый, а далекий, темно-синий.

Что сказать о самом городе? Обычный провинциальный город — деревянные домики с наличниками и палисадниками, немощеные улицы. В центре — несколько пузатеньких кирпичных купеческих домиков-лавок (после революции возведенных в ранг магазинов), несколько школ, здание заводоуправления. Чуть в стороне — самое красивое здание — бывшая богадельня, ставшая городской больницей (в ней и я лёживал), и, наконец, красивый особняк директора завода, в котором родился и жил до 8-ми лет сын директора Воткинского завода П. И. Чайковский. Была еще действующая каменная церковь, ну и главный городской собор — Благовещенский, в котором крестили П. И. Чайковского и который был большевиками обезглавлен и переоборудован в клуб.

И — еще две достопримечательности. Первая — сам Воткинский завод, основанный графом Шуваловым в середине XVIII века по указу императрицы Елизаветы Петровны. Здесь производились железо, большая часть якорей для российского флота, станки, корпуса морских и речных судов, железнодорожные мосты (некоторые из них стоят до сих пор не только в России, но и в Западной Европе). В книге «Воткинский завод», изданной Удмуртским университетом в 1998 году, отмечается, что здесь выполнялись почетные государственные заказы. Именно здесь, к примеру, были изготовлены потолочные балки

Зимнего дворца, шпиль Петропавловской крепости в Петербурге (доставленный туда в разобранном виде).

Завод изготавливал артиллерийские орудия. В основном это были противотанковые пушки, сначала 45-мм (сорокапятки), потом, с началом войны, более мощные — 57 мм и 76 мм, прошивавшие броню немецких танков — «Тигров» и «Пантер» (одна из этих пушек поставлена на постамент в воткинском сквере на берегу пруда). По свидетельству книги «Воткинский завод», немецкий специалист, консультант гитлеровской рейхсканцелярии, охарактеризовал 76-мм пушку как «самую гениальную в истории ствольной артиллерии». С 1958 года завод производил ракеты, в том числе ракеты средней дальности. И удивительное дело! Город, костяком которого был знаменитый завод, получивший более двадцати наград и медалей не только на российских, но и на международных выставках, до последнего времени оставался заштатным провинциальным городком с курами, свиньями и грязными ребятишками на немощеных улицах...

Но для меня-то всю жизнь главной достопримечательностью города был наш Воткинский пруд, созданный на слиянии нескольких рек и речек тогда же, в XVIII веке, для нужд завода. Пруд — чистый, глубокий, громадный (километров 15–20 в длину), окаймленный великолепными сосновыми лесами. Стоишь на мысу, на обрыве, крепко держась за сосну, подмытую половодьем. Под тобой песок и камни, кой-где карабкается по крутизне иван-чай, в воде внизу камыши и кувшинки, и далеко-далеко — голубая гладь воды. А еще дальше влево — город, красивый издали, а вправо — другой мыс и синие леса за ним. Каждый раз, как я приезжаю с семьей на мою родину, мы непременно приходим на этот мыс (Шарканский он называется) и любуемся, и молим Бога, чтобы не была погублена эта красота. А опасность — есть, уже и нефтяники местные нефть в пруд выливали...

Стоит, пожалуй, коснуться и «национального вопроса». Воткинск — город русский, но расположен на стыке границ и народов: на севере (чуть ли не в десяти километрах) — удмуртские села, на юго-западе (в тех же десяти километрах) — Татария, на юго-востоке, сразу за городом, — русские села, Пермская губерния. Конфликтов на национальной почве не было, жили мирно. Татар (как и удмуртов) ощущали как чужих, но уважали — за трудолюбие, аккуратность, а главное — за добросовестность. Даже у нас, близких к земле русских

жителей Прикамья, татары славились как отличные косцы. Помню, в сенокос на камских пароходах ехало на заработки множество татар с литовками (косами) в холщовых чехлах и с женами-татарками в шароварах. Моя мама в косьбе не уступала мужику, но и она, помню, говорила мне: «Нет, Вовка, против татарина я не выдюжу! Да он за день в два раза больше выкосит!»

В самом Воткинске татар было немного, однако была (и сейчас есть) деревянная мечеть, а до войны за городом в конце июня на большом поле, на молодой весенней травке устраивался татарский праздник — сабантуй. И он становился шумным многолюдным общегородским праздником. Тон, конечно, задавали татары: татарские блюда, татарские игры, состязания. Но русские были горячими болельщиками, а иногда и заимствовали что-то из этих молодецких татарских игр. Помню, маме почему-то особенно понравилась татарская борьба, и после, в разгар наших воткинских гулянок, она иногда подзуживала мужиков: «Ну, мужики, кто смелый? Давайте татарскую борьбу!» Борцы ложились на спину, валетом, зацепляли друг друга ногой за ногу и по команде старались перевернуть соперника. Мама, маленькая, но очень крепкая, обычно выходила победителем из борьбы со здоровенными мужиками. Главную роль играла здесь, понятное дело, ловкость и хитрость: мужичина еще не успел включить на полную мощность свои рычаги, а уже перевернут и скребет ножищами по полу под смех родичей.

НОВАЯ ЖИЗНЬ

Трудно пришлось моим родичам на новом месте, в непривычной городской обстановке.

Приехав как-то к деду в деревню Пески, я с изумлением узнал, что здание конторы (оно же деревенский клуб) — самый большой в деревне, высокий и светлый деревянный дом — до коллективизации принадлежал моему дяде Афоне и его родителям! Легко ли было бросать такой дом, хозяйство, родные места и поселяться в Воткинске в хибарке вместе с двумя такими же семьями-бедолагами? Но они, мои родственники, были рады, что хоть живы остались.

Сбережений «клана» хватило только на один деревянный дом. Тут, в сущности в одной комнате, поселились три молодые семьи — по

семье на кровать. Жили дружно. Дядя Ваня, пожарник, уходя на работу, говорят, непременно брал меня на руки и, обогнув дом, подавал меня маме или папе в окно.

Даже сама теснота служила предметом шуток. Основным объектом была моя мама, которая была не без лунатических наклонностей — «торусила», «бормила» (говорила) во сне, а то и бродила по дому. Рассказывали, как ночью она в бессознательном состоянии сняла с окон и дверей все шторы — в стирку (крепок же был сон моих родичей, если они обнаружили это только утром!). А то ночью, услышав мой плач, мама совала соску в рот папе (на каждую семью, повторяю, была одна кровать): «На-ко, пососи, дитятко!», и тот сердито отплеывался: «Чо ты опять бормишь?!»

И отец, и многие родственники устроились на работу возчиками (конновозчиками, как тогда говорили). Ни легковых, ни грузовых машин в Воткинске тогда почти не было, а им, недавним крестьянам, работа на лошадях была привычна.

Видимо, не так уж плохо зарабатывали в те годы: через несколько лет все мои родственники расселились из «общежития», купив деревянные домишки. И это при том, что ни мама, ни тетки мои на производстве не работали («домохозяйки»). Конечно, кроме домашнего хозяйства, воспитания детей, заботы об огородах и т. п., каждая из них занималась каким-то «рукомеслом» на продажу: мама шила, тетя Клаша помогала мужу валять валенки, тетя Толя (Евстолия) купила старый деревянный ткацкий станок и ткала половики, которые шли нарасхват на местном базаре.

Как-то совсем особняком стоял дядя Саша — младший брат мамы, мой любимый дядя. Впрочем, любимым дядей он стал после войны. Из моих довоенных связей с ним в памяти (и не моей даже, а в памяти моих теток) сохранился лишь один эпизод. Собирается дядя Саша на какой-то школьный (рабфаковский) вечер, прихорашивается, мама снимает с его костюма какую-то пылинку, и тут я, сидящий на ее руках, оскверняю этот его единственный, тщательно отутюженный костюм! Огорченный дядя Саша поворачивается к свету, чтобы оценить масштабы катастрофы, и тут я оскверняю и второй бок пиджака.

Я не встречал человека более доброго, мягкого, интеллигентного (да-да, интеллигентного, хотя был он сын крестьянина и детство

провел в деревне). Дядя Саша резко отличался от других моих дядьев. Он очень хотел учиться и единственный из моих старших родственников окончил рабфак. Это — рабочий факультет (нечто типа десятилетки), призванный создать «новую, нашу, рабочую интеллигенцию». После дядя рассказывал мне анекдот про рабфаковцев тех времен. Рабфаковец загадывает шараду: «Первое — певчая птица. Второе — то, что говорят в начале телефонного разговора. А целое — то, что я чувствую на экзамене. Ответ — *чиж-ало*».

Если другие мои родственники приняли новую жизнь «со скрипом», то дядю Сашу (он, правда, был моложе) даже заразили всеобщий энтузиазм, романтикастроек. Помню, как он весело распевал задорные комсомольские песни. Дядя-то эту жизнь принял, а она его — нет... Кто-то из местных чекистов дознался, что Александр Лагунов — сын заключенного, бывшего кулака. Много лет спустя дядя мне рассказывал:

— Я его и раньше немножко знал. Знал, что он в органах. А тут встретились в саду Чайковского, он говорит: «Садись, Лагунов, разговор есть. Что ж ты скрываешь, в анкетах не пишешь, что сын кулака, лагерника?.. Да ладно, не дрожи! Ты, вроде, для советской власти невредный, я тебя выручу, никому не скажу. Сам понимаешь, чем рискую. Если узнают, что тебя покрывал, — с работы снимут, из партии выкинут. Ну и ты меня выручи. Связался я тут с одной лярвой, ребенка ей сделал. Она на алименты подавать хочет, а меня ж со свету сживут, если узнают! А ты холостой, беспартийный, возьми это дело на себя. Ну и квиты будем». И дядя платил алименты на чужого ребенка 18 лет — с перерывом на службу в армии в 39–45-х годах.

Сейчас трудно представить, насколько дружно, одной семьей, жили мои родичи. Вступившая в «клан» молодая женщина уже воспринималась родственниками мужа (здоровенными мужиками) как сестра и для них переставала быть женщиной. Да что там — в домашнюю баньку иногда мои дядья и их жены ходили все вместе! Как меня удивляло потом, что в «цивилизованном обществе» совсем другое отношение к женам родственников и друзей!

Радости, горести одной семьи — общие радости и горести. Вещи — тоже были общие. Помню радостные крики старших: «Илья патефон купил!» И вот почти каждый выходной мы слушали у дяди

Ильи пластинки. Выходной тогда был совсем не то и не тогда, что сейчас. Перед войной у моих родных была пятидневная рабочая неделя: четыре дня работаем, пятый отдыхаем. Как же огорчались верующие, когда выходной попадал на «постные» дни — среду или пятницу: погулять бы, выпить — ан нельзя, грех!

Патефон у дяди Ильи мы слушали как слушают концерт в Большом зале консерватории — благоговейная тишина, никакой выпивки, беготни, болтовни. Когда пластинка кончала шипеть, кто-нибудь заказывал следующую: «Ну-ко, Шурка, давай *Тачанку-ростовчанку*», и мой младший брат Шурка, не умеющий (как и большинство собравшихся взрослых) читать, по цвету этикеток, по каким-то царапинкам на них моментально находил нужную пластинку.

Родичи мои, особенно молодые, и сами стали осваивать городскую культуру, например, городские романсы — «Позарастили стежки-дорожки», «Мой костер» и т. д. Особенно любили любовный романс «Всё васильки, васильки». Их, эти васильки, влюбленный собирал у реки для любимой девушки:

Я ее на руки брал, в глазки смотрел голубые,
Ножки ее целовал, бледные ножки, худые.

Только в студенческие годы я обнаружил, что этот любовный романс — сокращение и полное переосмысление большого трагического стихотворения Алексея Апухтина «Сумасшедший», одного из лучших его стихотворений. В начале XX века его очень любили читать чтецы-декламаторы. Там сумасшедший вспоминает в минуту просветления, как он собирал васильки... для своей дочки Оли!

Олечка бросит цветок
В реку, головку наклонит.
«Папа, — кричит, — василек
Мой поплывет, не потонет?!»
Я ее на руки брал,
В глазки смотрел голубые,
Ножки ее целовал,

Бледные ножки, худые.

Какая удивительная трансформация!

Легче и быстрее менялась внешняя сторона жизни вчерашних крестьян. Деревенские лыковые пестери сменились зимбелями (так почему-то называли сумки), лавки — стульями, пусть самыми дешевыми, из цельных корявых стволиков карельской березы (думаю, немалые деньги стоили бы сейчас такие стулья!). Городские «щиблеты» и «баретки» не сменили, но потеснили лапти. Лапти теперь надевали только уходя в лес. У нас были свои детские лапотки. Я и теперь убежден, что для сухой погоды лапти — самая удобная и гигиеничная обувь (как для настоящей, не слякотной зимы — валенки).

А вот шарф, не известный в деревнях, не привился среди моих родичей и в городе. Помню, возвращаясь в мороз из школы и подбородком прикрываешь голую шею. Первый шарф появился у меня лишь в студенческие годы.

Медленнее и мучительнее менялась в городе психология, особенно у мужчин. В непривычной городской обстановке многие недавние мужики терялись, «для снятия стресса» нередко начинали злоупотреблять испытанным тонизирующим напитком. Помню, не раз смиренные умные лошадки сами привозили к воротам дома кого-нибудь из моих родичей, беспробудно спавшего в телеге.

Женщины приспосабливались к новой жизни быстрее, они охотнее и бойчее разговаривали с «городскими», легче преодолевали приверженность традиционной нерушимости жизненного уклада. Противоречивая русская натура, с одной стороны, склонна к неспешности («Русские медленно запрягают»), а с другой — не любит откладывать дело в долгий ящик и принимается за него поскорее, не обдумав все детали («Быстрее, быстрее! Начнем, а там посмотрим»; «До гоним — перегоним! Сделаем — переделаем!»). Это было свойственно и маме, и, каюсь, мне. Сколько было сделано впопыхах, а потом переделано!

Даже имена детям маме не удавалось дать «с первого раза». Я был записан в загсе как Николай. После мучительных раздумий и лингвистических прикидок (*Николай... Никола... Коля... Колька...*

Колянко) мама, несмотря на крестьянскую трепетную боязнь госучреждений, снова пошла в загс и добилась превращения меня во *Владимира*. Через два года мой брат превратился из *Семена* в *Александра*.

Метаморфоза ждала и другого моего младшего брата, Григория. Тетя Клаша рассказывала мне позже: «Сима ходит и талдычит: *Григорий* — ничего, а *Гриша*, *Гришка*... Нет, не глянется мне!» Брат все-таки остался Григорием, но только потому, что соседка наша, узнав о маминых терзаниях, сказала: «Вам, Ефросинья Николаевна, полное имя *Григорий* — нравится, а сокращенное *Гриша* — нет? Так зовите его иначе, ну, например, *Гера!*» И это маму устроило.

В этом внимании к именам, к их звучанию можно увидеть некую наследственную предрасположенность, сделавшую меня (а потом и моих детей) лингвистами.

Совсем другой, чем «у городских», была у моих родных манера поведения, особенно в семье. Нежности (не только «телячьи», но и просто нежности) были совершенно исключены. Не представляю, чтобы жена прижалась («принародно») к мужу, или муж обнял жену. Был принят грубовато-шутливо-снисходительный тон при обращении к супругу (или супруге) при посторонних, даже при родственниках. Помню, папа был очень доволен, когда мама предложила купить ему новый костюм, но вот как он (явно тронутый заботой жены!) рассказывал об этом дяде Афоне: «Моя-то, чо удумала! Давай, говорит, костюм тебе новый купим! Хе!» Всю скрытую любовь и нежность женщины проявляли на похоронах супруга или потом, горько сетуя на его могиле.

Дети составляли исключение. Для детей у матерей находились (кроме обильных подзатыльников) и поцелуи, и ласковые слова. Но сдержанность, царящая в отношениях между родителями, сказывалась и на нас, детях, на нашем отношении к родителям. Однажды мой школьный друг Колька Нельзин преподавал мне урок. Огорченная чем-то мама горько плачет, я испуганно и сочувственно издали смотрю на нее, а Колька шепчет: «Что ж ты?! Подойди, успокой мать!» Для нас такое было совершенно дико, мы, стараясь успокоить маму, всегда бросались что-нибудь делать — подметать, чистить стайку, пилить дрова.

ЯЗЫКОВОЙ БАРЬЕР

Чуть ли не самое трудное для новых горожан — языковой барьер. Все мои родичи — крестьяне Пермской губернии — говорили на пермском диалекте северного наречия русского языка и унаследовали все основные признаки этого наречия: оканье, стяжение в глагольных формах (*делат, читат* вместо *делает, читает*), употребление согласуемых постпозитивных частиц (в литературном языке: *село-то, дом-то, изба-то, руки-то*, у нас: *село-то, дом-от, изба-та, в избу-ту, руки-те*), долгое твердое *ш* на месте мягкого *щ* (*Мне шишка попалась* — «Мне щука попалась») и т. д.

Конечно, были в речи старших моих родственников и некоторые различия (наш большой «клан» объединял выходцев из разных районов Прикамья): кто-то цокал (*цисто* вместо *чисто*), кто-то чокал (*курича* вместо *курица*). Говорящие и сами замечали, обыгрывали эти различия. Даже в частушках это отразилось:

— Милка, чо, милка, чо?
Милка, чокаешь почо?
— А я девчонка-северяночка,
Почокаю — дак чо?

Ну, а дядя Ваня у нас — особая статья, он сокал (*Куриса снесла яисо; Скажи курисе, а она всей улисе*) и смягчал заднеязычные *г* и *к* (*Ванька истопил банькю, потом попил чайкю*).

Говорить «по-городски» мои родственники так и не научились. Конечно, самые броские отличия замечались и отметались: некоторые, особенно молодые, стали акать, говорить *одежда*, а не *одёжа*, *велосипед*, а не *лесaped*, *лужа*, а не *лыва*. Нередко, понятное дело, и впросак попадали, пытаясь показать, что тоже «не лыком шиты». И тут уж над ними смеялись не только «городские», но и «деревенские» тоже. Помню, рассказывали, как одна девушка из деревни, где вместо мягкого *к* и *г* (*руки, ноги*) говорили *т, д* (*рути, ноди*), с достоинством потчевала гостей, демонстрируя свою образованность и умение обращаться с *к* и *г*: «*Наке берике*» (Нате, берите).

Или другая подобная история, о молодом крестьянском парне, который старательно акал, показывая свою образованность, да вдруг и разоблачил себя, употребив другую, более «грубую», чем оканье,

диалектную черту: «*Хадил на Маскве, шел на даске, упал с даски, да прямо в грезь!*» (в грязь).

Эти и подобные звуковые различия между «городским» и «деревенским» языком нередко приводили к непониманию («*Виник, куриса* — что это такое?»).

Чаще всего, однако, недоразумения при общении были связаны с лексикой. Немало было у нас диалектных, пермских слов, которые были непонятны «городским», а то и вводили их в заблуждение: *обабок* (подберезовик), *синявка* (сыроежка), *становина* (ночная сорочка), *мизгирь* (паук), *векша* (белка), *калега* (брюква), *заплот* (забор), *робить* (работать), *гаркать* (призывать: «Ну-ко, робетишка, Шурку погаркайте, ись (есть) пора!») и т. д. Особенно трудно было усвоить тонкости употребления слов. И сколько тут было недопониманий, довольно смешных, а иногда и печальных (и смех, и слезы)!

Вот мы с изумлением слышим, как соседская девочка говорит своей матери: «Я пойду погуляю, мама!» И та отвечает: «Погуляй-погуляй, дочка!» У нас, в пермских говорах, *гулять* значило вести распутную жизнь («Она от него гуляет!»), а желая поиграть на улице, мы спрашивали у мамы, можно ли *побегать*, и мама соглашалась: «Ладно, побегайте маленько!» Прилагательное *самостоятельный* значило у нас «солидный, серьезный» («Такой мужчина хороший, самостоятельный!»).

Глагол *велеть* значил одновременно и «приказывать», и «разрешать». Помню, мой друг Колька Нельзин переживал, что, играя с ружьем в доме своей тетки, всадил ей в бедро добрый заряд дроби. «Но она же сама велела ружьем поиграть!» — утешал я его, а он меня поправил: «Не велела, а разрешила!» А как он хохотал, когда я сказал, что у нас сегодня *будут губы жарить!* Спросил: «А носы вы жарить не будете?» Дело в том, что у нас губами называли грибы, а губы (часть тела) — это у нас *брылы*. Или вот тетя Тоня (мать Кольки) кричит мне на их кухне: «Вова, подгорает! Быстро дай миску!» Я подаю кастрюлю. Она возмущается: «Ты что, смеешься?» А я и не думал смеяться. У нас *миской* называли кастрюлю (слова *кастрюля* вообще не было). А миску мои родичи именовали *чашкой*. Вы спросите: а как же именовали тогда чайную чашку? Так и именовали — *чайная чашка*.

А вот и еще несколько каламбурных несовпадений речи «деревенской» и «городской».

Кочи. Это не воспетые Некрасовым *кочи* (кочки): «...И кочи, и моховые болота, и пни — / Всё хорошо под сиянием лунным...» У нас это слово употреблялось в значении, которое даже Владимиру Далю было неизвестно: *кочи* — это волосы (кажется, только женские). Помню диалог:

— *Машка, неужто шарам-то твоим (глазам) не стыдно?*

— *Нет, ты сама постыдилася бы, зараза! Я те кочи-те повыдеру!* (небольшая словесная разминка двух соперниц перед баталией, в ходе которой серьезно пострадали и «кочи», и прочие атрибуты женской красоты).

Слово *водка* выходцы из деревни не употребляли: только — *вино*. Было оно двух видов: *белое вино* (или просто *белое*) — водка, и *красное вино* — всё остальное. Помню, тетя Толя (Евстолия) шепчет мне за столом (это уже после войны было): «Нет, Вова, уж куда мне, старухе, белое пить! Ты мне послабже, красенького вон налей!», и кивает на бутылку с 60-градусным венгерским ромом.

Еще интересный пример — обращение к собеседнику. Как и в городе, у нас, выходцев из деревни, к близким родственникам обращались по имени: *Ваня! Сима!* А вот к взрослым родственникам не столь близким, а также и к знакомым обращались исключительно по отчеству (без имени!): *Северьяновна! Афанасьич!* И это независимо от возраста. Маму, например, близкие родственники звали *Симой*, а все остальные ее, молодую 30–35-летнюю женщину, именовали исключительно *Николаевной*. Помню, коренным воткинцам это казалось странным: «Что это вас, Ефросинья Николаевна, как старуху зовут — *Николаевна?*» Странным казалось им и то, что все взрослые родственники одного из супругов называли любого родственника другого супруга *сват* (или *сватья*).

Один супруг, говоря о другом, употреблял обычно слова *моя, мой: Моя-то в деревню вчера ходила; Мой-то опять нажорался* (напился). *Лыка не вяжет!*

Но больше всего смешило городских то, что маленьких несмышленишей ласково величали у нас *батьюшками* и *матушками* («Чо, ручку зашиб? Ой, ба-атюшко! Ну ничо, не реви, не реви! Дай я

подую на ручку, и всё пройдет!» Или: «Ой, матушка! Ягодку тетке принесла? Ну спасибо, спасибо, съем твою ягодку!»).

Впрочем, и деревенские, в целом признавая превосходство «городского» языка, иногда находили в нем что-то смешное. Помню, и дедушка Аким Никитьевич, и мама посмеивались: «Чудно в городе говорят: *Ходить за ягодами*, или, того чишше: *за водой*. Это чо — ягоды от тебя бегут, а ты за ими идешь, или речка текёт, а ты за ей бежишь?» (в пермских говорах в этих случаях употребляли предлог *по*: *Я с утра-та по ягоды ходила, а счас вот по воду иду*).

РАННИЕ ВОСПОМИНАНИЯ

Из раннего детства память, понятное дело, сохранила немного. Всего несколько картинок вспоминаются, но так живо, будто я сейчас всё это вижу. Они совершенно обыденны, эти картинки, но интересно, почему из многих тысяч память отобрала именно их? И еще: почему все они связаны с физической болью, или стыдом, или страхом? Впрочем. Бунин тоже писал, что младенчество свое вспоминает с печалью: «Каждое младенчество печально: скуден тихий мир, в котором грезит жизнью еще не совсем пробудившаяся для жизни, всем и всему еще чуждая, робкая и нежная душа».

Летний вечер. Красноватые лучи заходящего солнца. Мама носит меня (трех- если не двухлетнего) на руках, убаюкивает. Укутанный теплым платком, я прижался к ее груди. У меня корь. Мне тошно, больно и в то же время непередаваемо уютно и покойно на руках у мамы, как будто еще живо какое-то утробное воспоминание о времени, когда я был ее частичкой, и сейчас эта частичка набирается от нее тепла и сил.

Вторая картинка. Зима. Я стою с деревянной лопаткой на снежной горке во дворе дома. Отворяются ворота, и входит мама. Я бросаюсь ей навстречу, падаю, ударюсь головой об лед и теряю сознание.

Лето. Мне уже года четыре. Играя с соседскими мальчишками на улице, я вдруг обнаруживаю, что со мной случилась неприятность, и большая. Забежал домой, скинул трусишки и, поскольку других не нашел, побежал на улицу в одной рубашонке: мне показалось, что из-под нее *ничего не видно*. Однако ребята с криками «Голый, голый!» запрыгали вокруг меня, и я, наклонив голову, увидел, что

действительно — *всё видно!* С ревом, чувствуя себя опозоренным навеки, побежал я домой, преследуемый улюлюкающими ребятами.

Мне года четыре-пять. Мама куда-то уходит. Обычно я безропотно остаюсь один, а тут никак не хочу отпустить маму. Бегу за ней и, захлебываясь от рыданий, всё выкрикиваю строчки какого-то стихотворения: «Ах, попалась, птичка, стой! Не уйдешь из сети!.. Ах, попалась, птичка, стой!..» На детские капризы у нас особого внимания не обращали, а может, у мамы были срочные дела — она всё-таки уходит. И — странное продолжение сценки. Жили мы тогда на втором этаже двухэтажного деревянного дома. У нас был свой вход, свои сенцы с крутой деревянной лестницей. Я проводил маму вниз, закрыл на крючок входную дверь, но когда стал подниматься вверх по полутемной лестнице, освещаемой только малюсеньким оконцем, услышал за спиной шелест крыльев и почувствовал, как громадная черная птица летит, гонится за мной. Я (тоже птицей) взлетел наверх, закрыл дверь на крючок и забился под одеяло.

И последнее из ранних воспоминаний. У меня скарлатина, боль в горле, больно даже языком шевелить, сильный жар, а мама положила меня на раскаленную, только что истопленную печь и заставляет пить керосин (народное средство). До сих пор чувствую во рту омерзительный вкус этого керосина. Керосин не помогает, и мама везет меня на санках в больницу (ни «скорой помощи», ни какого-то общественного транспорта в Воткинске ни до войны, ни во время войны и в помине не было). Помню, как сквозь шаль, которой мама укутала меня с головой (зима!), перед моими глазами пляшут кружочки света. Их, эти серовато-блеклые кружочки, помню совершенно ясно, а вот из долгого пребывания с мамой в больнице не помню ничего.

ПАПА И МАМА

Мой папа, Зиновий Акимович Санников, был любящим, очень заботливым отцом, но я его почти не помню: умер он, когда мне было всего восемь лет, к тому же был человеком достаточно замкнутым, молчаливым, всегда, даже в семье, державшимся в тени. Помню отдельные сценки, помню, например, как по немощеной улице, стоя,

как влитой, на тряской телеге и размахивая «для убедительности» вожжами, лихо, вскачь он подъезжает к дому.

В городе папа был человек заметный. Как же — водовоз, развозит воду по учреждениям — яслям, детским садам, школам, даже и в заводоуправление. Дразнили песней из кинофильма «Волга-Волга»: «Удивительный вопрос: почему я водовоз? Потому что без воды и не туды, и не сюды». Везде почёт: «Зиновий Акимович, рюмочку выпейте, вон какой мороз на улице!» Продрогший Зиновий Акимович обычно удовлетворял просьбу. Видимо, из-за этого в семье начались ссоры. Помню, как мама решила уйти, собрала вещи, сняла с пола половики — своё сверхскромное приданое — и, с плачем одев нас (мы тоже, конечно, заревели), присела перед уходом на кровать. И тут приехал на обед на своей клячонке папа (подозреваю, что мама не случайно выбрала для ухода именно это время). Папа, в заледеневшем фартуке (как в панцире), не раздеваясь и не вступая в дискуссии, бросил в шкаф собранные мамой вещи, потом, твердо ступая в заледеневших валенках, небрежно постелил-побросал на пол собранные мамой половики и велел нам раздеваться. Этим дело и кончилось.

Рассказывать о горячо мною любимой маме мне трудно да, пожалуй, и излишне. Это лучше меня сделали Некрасов и Федор Абрамов.

Мама относилась к тому типу русских женщин, о которых Некрасов писал:

Есть женщины в русских селеньях
С спокойною важностью лиц,
С красивою силой в движеньях,
С походкой, со взглядом цариц.
И голод, и холод выносит,
Всегда терпелива, ровна...
Я видывал, как она косит:
Что взмах — то готова копна!
В игре ее конный не словит,
В беде — не сробеет, спасет:
Коня на скаку остановит,

В горящую избу войдет!

(Давид Самойлов тонко комментирует последние строки, справедливо подмечает:

Она бы хотела иначе —
Носить драгоценный наряд.
Но кони всё скачут и скачут,
А избы — горят и горят...)

Ну, а детали маминой психологии и поведения — в повести «Пелагея» Федора Абрамова. Читал я эту замечательную повесть и удивлялся — ну, это же о моей матери! Та же жизнестойкость, те же добросовестность и трудолюбие, те же зачастую обороты речи, диалектные («северные») словечки, интонации. Да и «шелуха» та же: жадность к вещам, тряпкам. Но — не было у мамы Пелагеи жесткости и холодного расчета в отношении к людям. Прожив тяжелейшую жизнь, мама была расположена к людям, обладала редким человеческим обаянием, моментально находила общий язык с любым человеком. И никогда не могла бы мама, как Пелагея, жалить беззащитную, безответную, добрую девушку, бить ее и ее отца в самое больное место, намекая, что она — некрасивая, «сухая жердина», издевательски именовать «наша красавица»! Неверная нота у Абрамова? Не думаю — ведь изображал он всё-таки Пелагею, а не Ефросинью, мою маму.

Ограничусь несколькими бытовыми зарисовками.

Кипучая мамина энергия набрасывалась на всё — как бы освоить, использовать? Не все ее эксперименты оказывались удачными. Увидела в магазине механическую машинку для стрижки: «Дай-ка куплю, робетишек в парихмахтерскую не водить, в очередях не стоять, деньги за стрижку не платить». В первое же воскресенье вывела нас во двор, стричь. На стуле — белая простыня, мы толкаемся, каждый старается пролезть без очереди: «Меня первого! Нет, меня!» Всё как в настоящей парикмахерской. А в результате — еще одна утраченная иллюзия: машинка нещадно тербит волосы. Мама упорно держится за

свою идею, да и денег истраченных жалко: «Больно уж вы нежные, сыночки! Ну, потерябит маленько, зато такие будете гладенькие, красивенькие!» Перестали действовать ласковые слова — тумачи посыпались. Шум, гвалт на всю улицу. Но решающий удар маминой красивой идее нанес младший мой брат, Гера, с малых лет отличавшийся решительностью и независимостью суждений. В самом начале стрижки он вьюном выскользнул из цепких маминых рук, раз-раз — взобрался на крышу сарая и сидел там, подвывая и потирая голову, по середине которой безобразно белела широкая выстриженная полоса.

В наш век люди быстрее думают, чем сто лет назад, но страшно медленно двигаются — по сравнению с моими родителями и дедами. Вспомните старые фильмы со смешными, ускоренными движениями персонажей. Вот так двигалась мама. А как иначе успеть всё сделать в военные и послевоенные годы с четырьмя малыми детьми?

Некоторые эпизоды, вызванные такой вот спешкой, могли бы украсить любую комедию. Приведу только один. У мамы генеральная стирка. Везде чугуны с нагретой водой, кадушки какие-то. Мама встает зачем-то на табуретку, слезает — и попадает ногой в чугунок. Пошатнувшись, ставит другую ногу — в другой чугунок! Потеряв равновесие, падает назад и садится в большую кадку с отмокающим бельем. Как сейчас вижу: обе мамы ноги — в чугунах, сама мокрая сидит в кадке и хохочет.

И только раз за весь день мама отдыхала. Как бы ни была занята, после обеда ложилась зимой на теплую печь, а летом — на прохладный крашеный пол (жар вытягивает) и мгновенно отключалась. Это уж традиция (по-моему, очень разумная). Помню, как в деревне, в поле, в жару, мы, уставшие, полдничаем с дедом и бабкой. Сверхскромно — хлеб с лучком, с крупной солью, квасок в березовом туесе (удивительно, какой это удобный сосуд — туес: жидкость даже в жару остается прохладной, и обычная вода получает мягкий, ненавязчивый привкус березы). И дед с бабкой обязательно ложатся отдохнуть — под телегой (пока была лошадь) или под кустом (когда лошади уже не было). Вы скажете: «Под кустом-то приятнее!» Так-то так, но под телегой комаров и мошки меньше, не нравится ей смоляной тележный запах.

Ну, а в Воткинске этот переход мамы от сверхактивности к мертвому покою был так резок, что я иногда пугался. Наслышавшись рассказов о людях, умерших во сне, я боялся, что мама умерла, тихо подкрадывался к ней и с облегчением убеждался, что она дышит. Но вот мама уже вскакивает и опять стирает, шьет, варит, ухаживает за скотиной (и за нами) — до позднего вечера. Да и по ночам я, просыпаясь, часто слышал постукивание маминой ножной швейной машины.

Работая, мама всё время негромко напевала. Репертуар не слишком богатый, и я до сих пор помню от начала до конца многие из этих песен. Приводить их, понятное дело, не буду. Скажу только, что были они в основном чувствительные. Две особенно мне запомнились.

Как на главном Варшавском вокзале
Станционный звонок прозвенел.
А на лавке, под серой шинелью,
Пригорюнясь, сидел офицер.
Перед ним, опустилась на колени,
Стоит Нюра, бледна и грустна...

Она умоляет его остаться: «Не губи, неразумный, меня». Он: «А я должен слушать начальство, и затем оставляю тебя». Естественно, она бросается под тронувшийся поезд.

И другая песня.

Ой, там, в остроге, ой, там, в остроге,
Там, в остроге со-лучи-лася беда.
Ой, там убили, ой, там убили.
Там убили молодого казака.

Особенно, до слез, трогало меня то, что жена казака и его дети ничего еще не знают, и три сокола «сели-пали» на ее дворе:

Ой, крылышками, ой, крылышками.
Крылышками двор широкий подмели.
Ой, голосками, ой, голосками.

Голосками кличут юную вдову:

Ой, встань, проснися, ой, встань, проснися,
Встань, проснися, молодая вдовушка.
Ой, не твою ли, ой, не твою ли.
Не твою ли мужа мертвого везут?
Ой, не твои ли, ой, не твои ли,
Не твои ли дети стали си-ро-ты?

Эти и другие русские песни неспешны, с многими повторами. Возможно, по контрасту мне запомнилась одна тюремная песня, очень динамичная:

Звонит звонок после поверки,
Ченцов решился убежать.
Не стал он долго собираться,
Быстрее печку стал ломать.
Перекрестился, стал спускаться.
Его заметил часовой...
и т. д.

Основное место в мамином репертуаре занимали, как и на праздниках, частушки. Но частушки уже другие, нет в них той разухабистости, много и грустных:

Ох, какая же тоска,
Тоска невыносимая:
Отовсюд идут и едут —
Нет моего милого.

Частушки шли тематическими циклами, одна тянула за собой другую.

Хорошо на Каме жить,
Ходят пароходики.
Незаметно пролетают
Молодые годики.

Хорошо на Каме жить,
Хорошо и весело.
Только маленька ошибочка —
Покушать нечего.

Вот мама как-то незаметно попадает на «метеорологическую» тематику:

Ох, какая пурга-вьюга,
Ох, какая тёмна ночь.
Одна мать искала сына,
А друга искала дочь.

Пурга-вьюга, пурга-вьюга,
Пурга-вьюга и метель,
Развевает пурга-вьюга
На милёночке шинель.

Слово *шинель*, выводит маму на цикл частушек о лейтенантах, и мама поёт их одну за другой:

Полюбила лейтенанта
И ремень через плечо.
Получает тыщу двести
И целует горячо.

Нам сказали на базаре —
Лейтенантов продают!
Мы с подругой побежали,
Их по ордеру дают!

Эх, топну ногой
И притопну другой!
Неужели я не буду
Лейтенантовой женой!

Впрочем, не во всех частушках лейтенант выступает таким пределом мечтаний любой девушки. Вот, например, частушка, где тот же самый лейтенант подвергается (недостаточно, на мой взгляд, обоснованному) поношению:

Лейтенант, лейтенант,
Лаковы сапожки.
Не тебя ли, лейтенант,
Обосрали кошки?

БРАТЬЯ И СЕСТРА

Как-то, вскоре после маминой свадьбы, цыганка нагадала ей: «Будет у тебя три сынка, как три соколка, и одна дочь — пьяница». Удивительно! Так всё и было: 3+1 (я старший, потом с интервалами в два года — братья Шура и Гера и, наконец, младшая — Алла, на восемь лет моложе меня). Только вот насчет склонности к спиртному цыганка немножко напутала: скорее уж меня с братцами можно обвинять в этом грехе, чем нашу сестру Аллу.

Близкое знакомство с «зеленым змием» состоялось у братьев довольно рано, после окончания Сарапульского лесомеханического техникума. Саша рассказывал мне, как работал на лесозаготовках в глухих пермских лесах. Очень тяжелая была работа, весь день по пояс в снегу. А вечером в бараках мужики из их бригады, задубевшие на морозах опытные «лесные волки», воспитывали иззябшую молодежь: «Бригадир! Ну что ты как красна девица? Выпей, согреешься! У нас без этого нельзя!» (точно так пушкинский гусар Зурин воспитывал Петрушу Гринева: «К службе надобно привыкать; а без пуншу что и служба!»). Ну а многоопытные «лесные волчицы» вносили свой вклад в воспитание юношества...

Но — что-то я далеко забрался в будущее... Вернусь в детство — мое и моих братьев.

Родители — одни, а характеры и судьбы — разные. Я — тихоня, типичный книжный червь, примерный ученик, а братья учились средне. Гера — бойкий, «разудалый добрый молодец». Общим у меня с ним было полное отсутствие крестьянской жилки, интереса к крестьянскому труду. А вот средний брат Шурка унаследовал от предков тягу к земле. В другое время он стал бы примерным мужиком-хлебопашцем. В деревне у деда Шурка нередко отказывался идти с нами на рыбалку или играть в городки, охотно отправлялся с дедом косить или снопы возить. Естественно, что у деда и бабки Шурка был любимым внуком. Раз он прожил в деревне у деда целый год. Зимой ходил в школу в соседнюю деревню за 4 версты, и однажды его с его товарищем едва не сожрали волки, когда они под вечер возвращались из школы. Сашин рассказ об этом почему-то не помню, помню рассказ бабы деревенской: «Пришли это мы с бабами на ключик на край деревни — за водой, да и так поболтать. Видим: от лесу двое ребятишек бегут, вопят. Видим: неладно дело, побежали к ним, тоже орем, ведрами пустыми гремим. Волки, видно, испугались, убежали. А мы их и не видели. Может, и не было никаких волков, может, помнилось ребятам — темнеть ведь уж начинало. Ну, мужики потом волчьи следы там нашли, конечно. Да ведь где их не было?».

«Это уж на-аш сын!» — ласково тянул дедушка. И уж не из ревности ли мама, и вообще-то довольно строгая, была как-то особенно строга к Шурке? Эта строгость зачастую казалась мне несправедливой и сильно меня огорчала, потому что я Шурку очень любил. Он тоже был очень ко мне привязан. Жили душа в душу, не помню, чтобы когда-то ссорились. Спали мы обычно вместе, почему-то валетом. Помню, как он обнимет мои ноги, да так и заснет. Шурка был спокойный, мягкий, покладистый, да и потом, взрослым (если не вторгался тот самый «зеленый змий»). Шура был деликатен, всячески боялся кого-то чем-то обеспокоить. В этом отношении он был похож на дядю Сашу, о котором я писал выше.

Была у Шурки и еще одна замечательная черта: больше, чем у любого из нас, у него было развито чувство юмора. Вот слушаем мы «Песенку фронтového шофера» Бернеса: «...трудно было очень, но баранку не бросал шофер», и Шурка делает вид, что с аппетитом

грызет баранку. А услышав строку «Узел, стянутый тобой» из песни «Мой костер» Полонского, Шурка изображал целую мимическую сценку: делал вид, что взваливает на спину и тащит *стянутый* (уворованный) узел с вещами. Интересно, что не Саша, а я написал потом книги, посвященные юмору и каламбуру, до которого он был такой охотник.

И мама, и братья были яркими личностями, особенно брат Гера, на редкость бойкий, живой, общительный, фантазер и выдумщик. Да вот, только один эпизод.

Мама на несколько дней уезжает, и Гера три вечера подряд рассказывает нам о своих приключениях, клянется, что это — чистая правда. Будто бы он обнаружил случайно за городом потайную пещеру, где прятались дезертиры. Дезертиры в годы войны в наших лесах действительно водились. Мы их побаивались, когда ходили за грибами или ягодами: говорили, что были случаи, когда они отнимали еду у грибников и ягодников (больше-то отнимать тогда было нечего). Дезертиры сначала хотели убить Герку, опасаясь, что он их выдаст, а потом пожалели и даже приняли в банду. Рассказчику, Гере, было тогда девять лет, а мне уже тринадцать, но мы слушали как зачарованные и — как бы немножко даже верили! Уж очень убедителен был рассказ, с массой живых подробностей. Например, как главарь банды, лысый, с татуировкой на обеих руках, сел на сундук, где у них хранилось награбленное, и приказал не трогать Герку, а один дезертир, узбек, все-таки не послушался, выхватил пистолет из кармана пестрого узбекского халата и выстрелил в Герку. Пистолет разорвался в его руке, и узбеку оторвало палец. Тут Гера очень живо описывал, как палец висел на кусочке кожи, как на ниточке, и узбек жалобно кричал: «Алла-Бисмалла!» В конце концов мы потребовали, чтобы Герка показал нам вход в пещеру. Он вывел нас за город. На пустынном поле «зимний ветер качал терновником», мела поземка, и как-то сразу, без слов стало ясно, что сказка — кончилась... Думаю, при других обстоятельствах и при другом складе характера Гера мог бы стать писателем. Сколько на Руси таких вот несостоявшихся талантов!

Сестра была на 8 лет моложе меня, и я сблизился с ней уже позднее, взрослый. Из раннего ее детства помню лишь отдельные сценки, «яркие высказывания»: «Мама, меня сегодня ночью клоп перекусил!»; «Мама, ты у нас такая мерзавка! Всё-то тебе холодно!».

Или: Алка крутится на кухне, роняет тесто, обильно обсыпает мукой руки, платье, пол. Очень собой довольна: «Вот как я маме помога-аю!» А вскоре она и в самом деле стала первой маминой помощницей на кухне.

Помню еще, как в яслях-саду у Аллы был карантин, потом другой. Месяца два, если не три ее не отпускали домой, а когда наконец отпустили, мы не узнали нашу Алку: вместо пухленькой, розовощекой девочки — дистрофик с тонюсенькими ручками-ножками, с впалыми щечками, поросшими каким-то черным пухом (это даже и по фотографиям видно). За столом она хватала куски хлеба, загоразивала их обеими руками и как-то по-звериному верещала, если кто-нибудь пытался взять у нее хоть один кусок. Представляю, как их кормили в яслях-саду! И ведь было это еще до войны, и было тогда Алле около двух лет.

Мы с братьями и сестрой жили довольно дружно. Мама часто уходила по делам, а то и уезжала «страдовать» (на заработки во время страды), иногда по неделям, и мне, 10–14-летнему, частенько приходилось становиться главой семьи. Я не злоупотреблял своим «высоким положением». Хотя было голодно, не было случая, чтобы я обделил младших, налил себе чуть больше молока или насыпал чуть больше сахарного песка. И всё-таки совесть моя не совсем чиста. Помню, была у нас ложка, которую все мы любили и на нее претендовали. Шурка (на два года меня младше) здесь, как и обычно, безоговорочно признавал мой приоритет. Главой оппозиции выступал (как и в других случаях) Гера, хотя он был моложе меня аж на четыре года. Вот ему удаётся сколотить коалицию против меня. Назревает сцена, великолепно описанная Джером К. Джеромом в повести «Трое на четырех колесах»:

Тоном, не допускающим возражений, он [старший мальчик] велит остальным детям убираться. Они и не думают возражать; в гробовой тишине они все как один бросаются на него. <...> вам виден лишь клубок тел, напоминающий сильно нетрезвого осьминога...

Пытаясь предотвратить такую вот потасовку, я говорю младшим: «Ну, ладно, берите, берите эту ложку, если хотите получить склероз верхних дыхательных путей!» Братья в испуге отталкивают ложку, и их почему-то не удивляет, что я орудую ею, не опасаясь этого самого склероза.

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

Взрослые, до отказа загруженные работой на производстве и домашними делами, казалось бы, вовсе не имели времени для воспитания детей. Дай Бог одеть, прокормить, включить в круг семейных обязанностей. Во всем остальном, касающемся игр, нравственного и умственного развития, родители вроде бы не участвуют. Дети растут как трава, по старой-старой русской пословице: «Чем бы дитя ни тешилось, абы не плакало». Дело тут, однако, хитрее. Во-первых, очень важен пример взрослых. Не высокие слова о нравственных идеалах, а сама повседневная жизнь нас воспитывала. Дети чувствовали себя не барчатами, при которых состоят родители, совмещающие обязанности слуг и гувернеров, а членами семьи, прекрасно понимающими, что «как потопаешь, так и полопаешь», где у каждого есть свои права и обязанности, где маленькие отличаются от старших братьев и сестер только тем, что их обязанности проще и легче.

А во-вторых, в роли воспитателей выступали старшие дети. В больших родовых кланах вроде нашего много детей всех возрастов. Родители занимаются в основном воспитанием, подготовкой к жизни ребят постарше. А эти, в свою очередь, воспитывают малышей, следят за ними. Как трогательно заботилась о нас, играла с нами моя двоюродная сестра Тайка (Тася)! Насколько беднее было бы наше детство без нее! Спасибо, Тася!..

Парни — двоюродные братья, занимались нами не так охотно, в перерыве между мальчишескими играми, да и то частенько «с хулиганщиной», особенно Пимен. «Ну-ко, Вовка, беги к тем вон девкам и скажи: *У меня есть кортик, который девок портит!*» Или дает мне какой-то полупрозрачный резиновый мешочек: «Иди, попроси мать, пусть поможет тебе надуть этот шарик!» И я, приученный беспрекословно подчиняться старшим, иду к маме с развернутым презервативом в руке. (Летом 41-го Пимен, как и еще шестеро моих близких родственников, ушел на фронт, и с тех пор от него не было никаких вестей.)

Воспитание у нас было спартанское. Родители, особенно мама, были довольно строги, шлепки и подзатыльники были одним из

основных педагогических приемов (на длительные увещевания, на апелляцию к совести просто не было времени).

Помню, несу я тарелки на стол, спотыкаюсь, роняю тарелки. В ужасе прячусь в каком-то закутке за картонный ящик, но мама быстро находит и черепки и меня и, не извлекая меня из укрытия, бьет по спине подвернувшейся под руку веревкой (что делать, из песни слова не выкинешь...). После, когда мы пошли купаться на пруд, папа сначала с удивлением посмотрел на кровоподтеки на моей спине, а потом на маму. И та виновато потупилась. Но не знала она, что это только пролог к великому битью посуды, которое устроили мы с моим братом Шуркой.

Мебели у нас было мало. Большой красивый сервант-горка (сейчас понимаю — стиль модерн) был «службой за всё»: в большом нижнем ящике — белье, игрушки, книжки, хозяйственные коробки, на полках за стеклом — посуда, наверху, под самым потолком, за затейливым резным завершением, напоминающим петушиный гребень, — еще что-то. Когда нам, ребятишкам, надо было достать сверху это «что-то», мы выдвигали нижний ящик и, встав на него, обретали искомое. Но однажды мы с Шуркой встали на этот ящик одновременно. Сервант не выдержал двойной нагрузки и стал падать. Старый, добротный, тяжеленный, он, конечно, раздавил бы или искалечил нас, но ему подвернулся косяк. Это спасло нас, но вся посуда, все тарелки, чашки, кувшины, которые мама высматривала в магазинах, а потом, скопив или заняв деньги, покупала и с торжеством приносила домой, — все это, вдребезги разбив стекла, скатилось на пол и образовало там груды ярких черепков. Разбился и мой любимый кувшин с крыловскими лисой, журавлем и волком. Но особенно жалко мне было детский сервиз, с ярко-рыжими петухами. Это, вообще-то, был кофейный сервиз, но поскольку у нас о кофе никто до войны представления не имел, мы считали сервиз детским. Купила его мама всего за несколько дней до катастрофы. Видит в центре большую очередь, спрашивает: «Что дают?» Напомню, что после нэпа вплоть до 1991 года в России ничего не *продавали*, а только *давали* или *выбрасывали*. Маме отвечают: «Сервизы дают, только чашки больно маленькие, видно, детские». Мама выстояла очередь, купила, и как же она переживала, что мы сокрушили и этот сервиз, и всю нашу посуду! Но экзекуции не было — родители радовались, что мы остались живы.

Однажды мама послала меня за хлебом (было мне лет семь, если не шесть). Крепко зажав в кулачке деньги, я побежал в гастроном в центре, но когда подошла моя очередь, вдруг обнаружил, что денег-то — нет! Я был в таком отчаянии, так горько рыдал, что сердобольные женщины из очереди скинулись и купили мне хлеб. Придя домой, я положил хлеб на стол и, по-прежнему чувствуя себя виноватым, забился в какую-то дыру. Мама с трудом нашла меня: «Ты что это? Ведь ты же принес хлеб!»

А иногда родичи мои были, напротив, излишне мягки. Помню, как я осознал это (может, в первый раз), сравнив поведение моих родителей с поведением родителей моего друга Кольки Нельзина. Вот идем с Колькой и его отцом — дядей Митей на рыбалку. Мечтаем полакомиться яблочком (на каждого — по одному). И тут Колька говорит: «Папа, а давай побежим с тобой вон до того дерева! Кто быстрее — тому два яблока». Дядя Митя громадными прыжками быстро обогнал Кольку и с аппетитом схрупал оба яблока, свое и Колькино. Я хотел дать огорченному Кольке половину своего яблока, но дядя Митя и этого не позволил. И я подумал, что мой папка так не поступил бы: он, обернув всё в шутку, вернул бы яблоко хвастунишке-сыну. Но тут же я подумал: «А ведь поведение дяди Мити по отношению к сыну — мудрее: не зарывайся, отвечай за свои слова!»

На сопли, кашель, царапины и порезы ни мы, ни родители внимания не обращали. Летом бегали — в лесу ли, на улице ли — босиком. Наступишь на стекло, попрыгаешь на одной ноге, поморщишься, смажешь слюнями кровь и налипший песок и бежишь догонять других ребят. Палец нарывает? Ерунда! Подождешь, пока хорошенько нагноится, проткнешь иглой, выдавишь гной — и порядок.

А вот один случай меня слегка встревожил. Было мне, наверно, уже лет 13. Я неудачно спрыгнул откуда-то на доску со здоровенным, торчащим кверху гвоздем. Был не босиком — в «спортсменках» (легкие тапочки), но гвоздь пропорол подошву «спортсменка», насквозь проткнул мою стопу возле пальцев и вышел поверх «спортсменка»: я был буквально пригвожден к этой чертовой доске. Я не стал говорить маме (огорчится, обругает!), дома залил рану йодом с обеих сторон — сверху и снизу. И как на собаке, всё зажило очень быстро.

Играя на улице, мы обходили стороной деревянные столбы электропередач, потому что на них были страшные жестяные таблички с изображением черепа, пустую черную глазницу которого пронзает красная молния. И в каком ужасе мы были, когда однажды Гера нечаянно прикоснулся к такому столбу! Считая бесчестным обманывать обреченного, мы кричали: «Сейчас ты умрешь!» и показывали на череп. Наши слова, а еще больше то, что мы шарахались от него, чтобы сидящая в нем смерть не перешла к нам, привели Геру в такой ужас, что он с ревом бросился домой, к маме.

Взрослые не прочь были подразнить малышей. Шутки были довольно неприятательные. Меня, например, частенько дразнили глупой частушкой:

У Володи в огороде
Курицу зарезали.
Кровь теки, теки, теки,
Володю во солдатики.

То ли мне себя было жалко, то ли курицу, то ли нас обоих, но я начинал всхлипывать, пока мама или кто-то из теток не вступался за меня: «Чо вы его хвилите?» *Хвилить* в пермских говорах значило: дразнить ребенка, заставляя его плакать.

Хвилили меня еще и Алексеевной. Это была крупная беззубая старуха, смахивавшая на бабу-ягу. Время от времени она приходила то к маме, то к кому-нибудь из теток «править» их (это такой очень глубокий массаж внутренностей). «Ну дак чо, Алексеевна, не роздумала идти замуж за Вовку-то нашего?» — спрашивал кто-нибудь во время процедуры. Она степенно шепелявила: «Нет, не роздумала. Раз уж сосватали, я вертеться не буду, я своему слову хозяйка! После Покрова свадьбу сыграм!» Все смеялись, а я плакал. По правде говоря, я понимал, что это шутка, но, видимо (особенности детского восприятия!), все-таки не исключал полностью, на 100 процентов, возможности бракосочетания с беззубой Алексеевной. Сейчас думаю, что, возможно, такие шуточки были полезны для меня, помогали преодолеть свойственную мне в детстве чрезмерную чувствительность.

Иногда, честно говоря, я сам себя растрavлял. Вот во время финской войны я, восьмилетний, рассматриваю в газете карту театра военных действий и отчаянно реву, увидев, что Финляндия на карте гораздо больше России. Напрасно меня утешают тем, что на карте изображен только фронт, только маленький кусочек России: в глубине души я верю взрослым, но мне приятнее не верить и продолжать рыдать.

Признаюсь и еще в одной своей слабости (присущей мне — увы, увы! — не только в детстве). Это крайняя доверчивость и простодушие. Мама на мою просьбу купить мне игрушку или книжку отвечала обычно какой-то глупой прибауткой: «Ну вот собаку облупим, так купим!» Кошек на улицах Воткинска бегало (и сейчас бегают) множество, а вот собаки забегали в это кошачье царство с опаской и довольно редко, поэтому, увидев бегущую в центре города собаку, я истошно завопил, испугав и маму и собаку: «Мама, собака! Хватай! Облупим, купим игрушек!»

Много лет спустя седые мои тетки вспоминали то про облупленную собаку, то про мою «невесту» — Алексеевну, то про Пашкино поле: «Ну, чо, Володя, на Пашкино поле за мёдом пойдём?»

Это был еще один розыгрыш. Старшие двоюродные сёстры Тайка и Нюрка как-то предложили мне пойти на лыжах на Пашкино поле за дешевым мёдом. Была зима, откуда бы взяться мёду за городом, на пустом, без единого строения Пашкином поле? А я поверил. Меня убедила серьезность, с которой сестры говорили об этом мероприятии: «Только не отставать и не бросать товарища, что бы ни случилось!» Накануне похода я почти не спал, встал рано, собрался, обсуждал с мамой, куда мёд класть. Меня не насторожило даже то, что, прыская в кулак, мама дала мне какой-то дырявый мешочек. И только придя в дом сестер, я понял, что надо мной подшутили. Но дядя Ваня и тетя Толя стряпали пирожки, и они (пирожки) быстро меня утешили.

Бука. Ко мне бука никогда не приходила, но вот к моим братьям, особенно к Гере, она частенько навевалась. Он был склонен поуросить (покапризничать). В неистовстве падал иногда на пол, бился головой об пол (точнее — о тонкие, жесткие половики на полу) — и так сильно, что на его лбу надолго отпечатывалась от половиков аккуратная мелкая сеточка кровоподтеков. И вот когда никак уж не

могли успокоить Геру или другого расходившегося младенца, кто-нибудь из взрослых потихоньку выходил в чулан, надевал там тулуп овчиной наружу, на голову — вывернутую шапку, на лицо — тряпицу. И громко стучал в дверь. Уже это одно должно было напугать — у нас никто из приходящих не стучался, а прямо вламывался в дверь.

Взрослые изображали смятение: «Ой, наверно Бука идет!»

И входила Бука, страшная, с палкой в руке: «Кто тут уросит?!»

Ребяенок в ужасе прижимался замурзанной мордашкой к материнской юбке. «Ну, будешь ишо уросить? Бука заберёт!» Онемевший малыш только головенкой трясет: нет, мол, никогда не буду.

И взрослые подводят итог: «Уходи, Бука, он больше уросить не будет».

БАНЯ

«Сегодня к дяде Ване в баню пойдем!» — радостно говорила мама, погружая нас в глубокую скорбь.

Для них, для взрослых, баня — это не просто место для мытья. Это и больница (выгоняет простуду, снимает стрессы), и клуб. Помню, как после бани раскрасневшиеся мои тетки и дядья ахали, охали, пили квас, болтали, добродушно подшучивали друг над другом, а чаще — над нами, ребятами.

Для нас же походы в баню — тяжкая обуза. В «первый жар», в самое пекло, ходили мужики и неистово, надев шапки и рукавицы, стегали себя вениками почти до умопомрачения. Пошатываясь между огородными грядками, брели в дом: «Ну, теперь вы идите, бабы!»

Женщины (и мы с ними) шли во «второй жар», не такой адский, но всё-таки, всё-таки... Даже в самой обстановке — что-то зловещее: черный кипящий котел в углу, черные, блестящие, словно адской смолой вымазанные бревна, дым (баня черная, без трубы, дым выходил через дверь или через мурейку — дыру, пробитую около потолка в стене), жуткая жара, женщины, прикрывающие низ живота вениками. Точь-в-точь ведьмы на метле, сейчас полетят на шабаш... Конечно, тогда эти сравнения не могли прийти мне в голову, но ощущение было такое.

Мы, дети обоего пола, валялись на полу, у самой двери, прикикая к щели под дверью, чтобы вдохнуть поток свежего воздуха. Когда жара немного спадала, нас мыли в тазиках. И это было тоже мучительно. Удивительное дело: мне, взрослому, мыло никогда не попадает в глаза. В детстве же, несмотря на все зажмуривания (а может, благодаря им?), мыло нещадно ело глаза.

Была в Воткинске и общая городская баня, но там — платить надо. Да были и другие недостатки. Помню, наш с мамой поход в баню закончился небольшим скандалом, вызванным моим, видимо, тогда уже довольно почтенным возрастом. «Ты чо, дура, такого жениха в женскую баню привела? Пусть с отцом ходит!» — возмущались женщины, и возмущались напрасно. Я крутил головой направо и налево, но не женщины меня тогда интересовали (навидался я такого и в бане у тети Толи и дяди Вани!) — я оглядывался в поисках уборной, о которой сестра Любка рассказывала чудеса. Она говорила, что там «вода сама смывает все какашки». Меня ждало разочарование — тоненькая струйка воды явно не могла справиться с этой задачей, а дернуть за ручку я при этом первом знакомстве с унитазом не догадался.

НАШИ ИГРЫ

Как они, мои детские игры, не похожи на игры моих детей! Мы и мечтать не могли даже о простеньком детском трехколесном велосипеде. До войны «настоящих», «магазинных» игрушек у меня было, кажется, всего две. Была корова на колесиках, с довольно глупой мордой, сделанная из папье-маше. Но мне казалось, что ее неподвижность обманчива, что внутри она живая. (Не потому ли дети ломают игрушки, что хотят добраться до этой скрытой жизни?) И совсем уж странно, что мерцание какой-то тайной жизни я ощущал и в другой моей игрушке — маленьком, почти плоском, картонном клоуне.

Впрочем, недостаток игрушек с лихвой окупался.

Пешком мы почти не ходили. Летом бегали с колесом. Это — обруч от бочки или маленькое тележное колесико, которое подгоняли специальной проволочной ручкой, загнутой на конце в виде буквы П. Зимой, отправляясь по своим ли делам или по поручению взрослых,

надевали на валенки лыжи или коньки. А если шли вдвоем-втроем, брали санки и по очереди везли друг друга.

Но особенно любили зимой кататься с гор на кованках (тяжелых больших санках с металлическими полозьями). Город расположен на холмах, не очень крутых, но длинных. Садилась на верху горы на санки втроем, а то и вчетвером. Впереди сидит рулевой, поставив на лёд перед санками ноги, обутые в коньки. И — вниз. Удивительно, как тяжелые санки послушно, как нитка за иголкой, шли за легонькими конёчками рулевого. Несемься вниз, постепенно набирая скорость и лихо покрикивая встречным пешеходам: «Прочь с дороги, кривые ноги!» Затормозить в конце трудно, и мы частенько выезжали на большую поперечную улицу (улица Спорта). Машин в городе было очень мало, но лошадей — множество, и наши санки не раз вылетали к возам, чуть ли не под ноги лошадей. Нас это пугало меньше, чем лошадей, которые испуганно шарахались в сторону.

На масленицу целыми часами, днями «брали город». Родители делали во дворе маленькую, но крутую снежную горку. Защитники (и защитницы) города вставали плотно, спина к спине, на верху горки. Нападающие карабкались по обледеневшим склонам и старались столкнуть защитников, взять горку. От сильных толчков обороняющихся скатывались вниз, собирались с духом, определяли слабое звено в обороне и дружно, по команде, снова и снова шли на приступ.

Ну а летом обычные игры во дворе — прыжки через веревочку, ляпанки (салочки) или прятанки (прятки). Водящему было нелегко — прятаться можно было по всему двору, и в стайках, и в сарае. Помню, ждешь пока тебя найдут и уснешь...

В школе любимая игра на переменах — *в цепочки*. Игроки двух команд встают друг против друга, крепко взявшись за руки. Потом игрок одной команды бросается на чужую цепь и своим телом старается разорвать ее. Если это удастся, он уводит одного из противников, усиливая свое войско. Если нет, он переходит в чужую команду и усиливает ее. (Эту игру описывала Татьяна Толстая, но неверно, «с точностью до наоборот»: успешно прорвавший чужую цепь становился будто бы пленником. Где же логика?)

Многие из наших детских игр давно вымерли. Например, прыжки на доске. На довольно высокую поперечину (сантиметров 25–30)

кладется длинная прочная доска, и каждый из двух играющих, прыгая на свой конец доски, высоко подбрасывает другого. Тот, опускаясь, должен точно попасть ногами на свой конец доски и силой падения подбросить в свою очередь партнера. И так — подолгу. Прямо цирковой номер! А тогда такие доски встречались на каждом шагу, и прыгали на них в основном девочки...

А для мальчишек любимая игра — бабки. Хвастались (перед родителями и девочками), что сам Пушкин эту игру воспел в стихотворении «На статую играющего в бабки». Мы с Колькой Нельзиным не поленились даже на память заучить этот тяжелый гекзаметр:

Юноша трижды шагнул, наклонился, рукой о колено
Бодро оперся, другой поднял меткую кость.
Вот уж прицелился... прочь! раздайся, народ любопытный,
Врозь расступись: не мешай русской удалой игре.

Весной мы жадно следили, как тает снег, как появляются на бугорках первые проталинки. И вот когда немножко просохнет такой бугорок (пусть кругом еще снег), можно играть в бабки. Играющие ставят на этом бугорке в ряд свои бабки (косточки из ноги животных, длиной сантиметров в семь-восемь) и по очереди бьют в этот ряд панком — более крупной бабкой, внутрь которой заливали обычно свинец, для увесистости. Выбитые бабки — твои. Какая была радость, когда от твоего сильного удара бабки брызгали в разные стороны! Бабки можно было обменивать, продавать, они были у нас «твердой валютой».

Позднее, классе в 7-м, мама купила нам волейбольный мяч, и мы с моими школьными друзьями, натянув во дворе веревку, играли через нее в волейбол. Вспоминается одна забавная история. До темноты играли мы в волейбол, а потом пошли в дом ополоснуть разгоряченные лица. Ну а Коля Нельзин, всегда отличавшийся повышенными гигиеническими требованиями, заметил под водостоком бочонок и решил сначала помыть руки и пыльные, потные ноги (играли, конечно, босиком). Закатал брюки, засучил рукава — и вперед. Откуда ему было знать, что в бочонке стояла приготовленная

мамой черная краска! И вот мы стоим наверху лестницы и ошалело смотрим, как в сени вступает наш чистюля: при ярком освещении, на светлых половиках черные, как у негра, ноги (краска была добротная, довоенная) выглядели весьма эффектно. Увидев наши изумленные лица, Коля взглянул на свои ноги, потом на столь же черные руки и тоже окаменел. Эту немую сцену (почище «ревизоровской») мы вспоминаем каждый раз, как я приезжаю на родину.

На пасхальную неделю, строго на эти дни, дедушка двоюродной сестры Любы Кокориной на перекладине сарая навешивал для нас качели. Доска была длинная, прочная, так что мы устраивались на ней всей компанией — мы с Любой и ее подруги. Удивительно — качались целыми днями (с перерывами на еду): болтали, ссорились, влюблялись. (На тему мальчишеской любви не могу сказать ничего нового, оригинального. Как все, с восьми лет постоянно был в кого-то влюблен. Все предметы моей нежной страсти были на голову выше меня и даже не подозревали об обуревающих меня чувствах.)

РЫБНАЯ ЛОВЛЯ

Вспоминается, наконец, самое мною любимое — купание в пруду и особенно рыбная ловля. Меня пристрастил к ней Колька Нельзин (спасибо, Коля!), и с тех пор она на всю жизнь стала для меня самым лучшим отдыхом.

Сейчас-то рыболовам хорошо: вот тебе капроновая леска — любой длины, любой толщины, присобачивай к ней поплавок, крючок, грузило — и всё! А у нас леску-то эту самим сплести надо было, из конских волос! Эти волосы достать надо (а лошадь, как и любая женщина, неохотно с волосами расстаётся), а потом сплести по несколько штук вместе, а потом еще эти куски связать. Помню забавный случай. Мы с Витей Богатыревым во дворе нашего дома готовимся к рыбалке, леску уже сплели, привязываем к ней крючки. И тут корова наша Зорька, вернувшаяся с пастбища, сдуру взмахнула хвостом, зацепила за леску, и крючок впился мне в руку. Я побежал за коровой с леской в окровавленной руке, но мои вопли только пугали ее, и она прибавляла ходу...

Рыбачили мы с Колей обычно на Сиве. Перед рыбалкой Коля чаще всего ночевал у нас. Допоздна болтали на нашей терраске, а часа в

четыре, а то и раньше, нас уже будил будильник — надо успеть на утренний клев. До чего не хотелось вставать! Поэтому и с огорчением, но и с облегчением каким-то слышали иногда, как по крыше терраски стучит дождь. Делать нечего, какая уж тут рыбалка? Приходится спать дальше.

И как же сладок был этот, буквально подаренный небом, сон под шум дождя!

Ну а если погода хорошая, шли (километра 4) на Сиву и бегали по «крутикам» в поисках рыбных мест. Днем возвращались домой с несколькими рыбешками в корзине. Что ж, и то подспорье при скудном военном рационе.

Позднее, после войны уже, стали рыбачить в основном на пруду, на лодке Володи Калинина.

Рыбачили, естественно, в дальней части пруда, подальше от города (часа полтора-два хорошей гребли), так что вставать приходилось часа в два ночи (вот уж поистине: охота — пуще неволи). Ездили на рыбалку обычно втроем: Володя Калинин, Витя Богатырев и я. Один гребет, другой кормовым веслом направляет лодку, третий — отдыхает. А потом менялись ролями.

Плывем под яркими звездами, с трудом различая далекий Шарканский мыс, горланим песни. А вот уже светает, вон Климкин мыс, а за ним — Черный, конечная точка пути. Ловили на удочку, рыбы было мало, в основном окуни, и довольно мелкие. Окунь покрупнее, грамм по 100–200 (мы уважительно называли их «лапоть»), попадались очень редко. Я был слишком азартен, волновался, дергал удочку то слишком рано, то с опозданием и потому неизменно ловил меньше, чем мои более спокойные и хладнокровные товарищи.

А вот и возвращаться пора. Усталые, сонные гоним тяжелую лодку через громадный пруд (тут уж не до песен!), потом разбредаемся по домам. Даже есть не хочется, падаю на постель, в глазах — зеленоватые волночки, пляшущий в них поплавок. Думаешь: «Нет, не пойду больше!» А через неделю снова неодолимо тянет на рыбалку.

Отвлекусь. Рыбная ловля, это что — атавизм, пережитки охотничьих инстинктов: поймать, убить, сожрать? Анализируя свои ощущения, не могу полностью этого отрицать, это есть. Но главное не эти древние инстинкты, а чисто современное желание переключиться, уйти на время от сложностей жизни. Сидишь в лодочке среди

камышей и кувшинок, перед тобой поплавок, и мозг твой отключился от всех забот и тягостных раздумий, он не спит, он напряжен, но это — здоровое напряжение, направленное целиком на это вот гусиное перышко, которое упорно стоит в воде без движения. Но вот оно чуть дрогнуло, и вместе с ним дрогнуло что-то в тебе. Еще толчок... Клюет! А тут и совсем уж не до «тягостных раздумий»!..

ПТИЧКА

Однажды зимой дядя Афоня подарил нам садок и клетку для ловли птиц. На следующее же утро мы насыпали в нее зерна и повесили на перекладине сарая. Сажу перед окном, учу уроки, но смотрю не столько в учебник геометрии, сколько в окно, на клетку. Ветер ее покачивает, снежком с крыши обдает, птички вокруг летают, даже на клетку садятся, но ни одна не садится на откинутую на пружине дверцу клетки.

Но вот наконец одна неосторожная синичка зацепила предательскую дверцу и забилась в тесной клетке. С бьющимся сердцем, в одной рубашке выскочил я во двор, принес клетку домой. Мы с братьями пересадили синичку в садок, щедро насыпали ей зерна, налили водички, весь вечер ею любовались.

Проснувшись утром, первым делом побежали к клетке. А на дне вместо неугомонной, порхающей птички — маленький пушистый, уже твердый, желтовато-серый комочек... Мы со слезами похоронили синичку под крышей сарая и в тот же день убрали клетку и садок на чердак. И никто из нас никогда больше не ловил птиц.

ОПАСНЫЕ ИГРЫ

Опасности подстерегали повсюду, часто с неожиданной стороны. Память сохранила несколько эпизодов, каждый из которых мог закончиться для меня или моих братьев трагически.

Сива. Сива — приток Камы, протекающий километрах в трех-четыре от города. (*Ва* у угро-финнов, коренных жителей этих мест, значит «вода», и многие названия рек в наших местах включают этот элемент: *Колва, Сылва, Лысьва, Косьва, Обва.*)

Сива — река не такая уж широкая, но очень быстрая (плыть против течения даже и не пытайся) и очень коварная: есть места, где «курица вброд перейдет», а есть омуты и водовороты. Эта-то река и была нашей колыбелью. И купались там, и рыбу ловили. И сколько же людей, не только детей, но и взрослых, утонуло в этой колыбели! Тонул в ней и я. Было мне лет пять. Дети постарше (лет по 10–11) вместе со мной переходили Сиву. Они делали всё грамотно: переходили с галечника (низкого берега) наискось на галечник на противоположном берегу, но я попал в яму и, не мешкая, пошел на дно. Хорошо помню тогдашние мои ощущения. Они, как ни странно, не были мучительны: лежишь на песчаном дне, в воде солнечные зайчики и какие-то колокольчики в ушах...

И вот уже испуганные сестры Тайка и Нюрка тащат меня на берег.

Лошади, коровы. «Не подходи к лошади сзади, а к корове спереди!» — учили нас сызмальства. Но я не помню, чтобы лягались лошади, эти могучие и удивительно кроткие животные.

Да и из коров я помню только одну бодучую — Машку, корову моих дедушки и бабушки. Дед и бабка ее недолюбливали (неудойная!), а мы уважали — за буйный нрав, за острые рога, которые она, не задумываясь, пускала в ход. Уважали, но и подразнить любили. Заметив, что Машка стоит в задней части скотного двора, кто-нибудь из нас выбегал во двор, подбегал к Машке (кто ближе?) и, увидев, как Машка наставляет рога, опрометью бежал к спасительной двери на скотный двор, захлопывал ее за собой. И как же приятно было слышать, когда рога свирепой Машки вонзаются не в твою юную попку, а в толстую древесину двери!

Могу ли я после этого осуждать испанских мальчишек, бегущих накануне корриды перед разъяренными быками?

Пушкин, как всегда, прав:

Всё, всё, что гибелью грозит,
Для сердца смертного таит
Неизъяснимы наслажденья...

Громко. Так звали здорового, злющего цепного пса у дяди Вани (видимо, за его громкий лай).

Я решил приручить его. Понимая, что путь к сердцу пса (как известно, и к сердцу мужчины) лежит через желудок, я запасся аппетитными косточками и во всеоружии отправился к Громку. К моим первым шагам в запретной зоне он отнесся с полным пониманием, благосклонно поглядывал на меня, облизываясь и помахивая хвостом. Потом, не чинясь, с урчаньем принялся за мое скромное угощение.

И тут я совершил грубую ошибку — я для закрепления нашей нерушимой дружбы стал его гладить (это во время еды-то!). Естественно, он меня цапнул, и хорошо цапнул: с обеих сторон ладонь была прокушена почти до кости.

Мы тогда (5-й класс) проходили в школе «Историю Древнего мира», и я, памятуя о мальчишке-спартанце, который на уроке мужественно, без стога терпел, когда спрятанный под его рубашкой лисенок выгрызает ему внутренности, тоже вел себя мужественно. Подойдя к тете Толе, я, пряча за спину руку, из которой, ну, не лилась, но струилась кровь, попросил у нее йод. «А зачем тебе?» — «Да кровь идет немножко...» — «Почему?» — «Да Громко немножко укусил!» — «Покажи! Показывай, показывай!» И увидев окровавленную ладонь, суматошно закричала дочкам: «Ой-хой-хой! Девки! Тайка! Нюрка! Быстрее, воду, йод, тряпку какую-нибудь!»

Петух. Что лошади, коровы, козы, собаки, свиньи — существа опасные, мы знали. Но вот петух — зверь небольшой, вроде бы нестрашный и очень занятой: гребёт всё ногами, вроде футболиста, только не вперед, а назад. Клюёт и — примерный семьянин — несущек подзывает. Но стоило пятилетнему брату Шурке оказаться одному во дворе дяди Вани, как этот петух налетел на малыша и ну его клевать и шпорами драть. Да всё в лицо норовит! Хорошо, кто-то из взрослых во двор вышел. Заклевать его петух вряд ли мог (а может, и мог — если б в висок попал), а вот глаза выклевать — запросто. «Эк он его отделал!» — задумчиво сказал хозяин петуха, косоглазый жилец дяди Вани. И оба — и хозяин, и петух — искоса посмотрели на Шурку, вот, мол, какие мы лихие.

Впрочем, петух недолго упивался победой. Хозяин скоро его «нарушил» (прирезал), но причиной расправы был не Шурка, а

соображения высокой коммерции.

Дело в том, что хозяин петуха, несмотря на косоглазие, был неплохой мастер — специалист по трюмо, которые перед войной входили в моду. И вот однажды он выставил под крышей сарая на просушку зеркало в богатой резной деревянной оправе. Считается, что животные себя в зеркале не видят. Наш петух отлично себя увидел, но неправильно интерпретировал увиденное. Он решил, что это — «соперник коварный», посягающий на его гарем. Разбежавшись, он бросился на наглеца. Тот не отступил, а встретил хозяина двора мужественно, клюв к клюву и шпоры в шпоры. Снова и снова бросался петух на пришельца, пока в полном изнеможении, с окровавленным клювом не свалился около исцарапанного и совершенно не пригодного к продаже зеркала. «Эк он его отделал!» — снова и снова повторял потрясенный хозяин зеркала (и петуха). Это были в точности те слова, которые он произносил раньше об исклѣванном моем братце, но если там было легкое сожаление с оттенком гордости, то здесь — глубокая скорбь по поводу тяжелой утраты.

Чтобы обезопасить свой бизнес, хозяин решил «нарушить» петуха: «Дикой он какой-то. Вон и парня тогда ислеквал. Придется его нарушить!»

Катание на розвальнях. Для нашей школьной ватаги одним из любимых развлечений зимой было катание в санях. Когда мимо нас, покрикивая, причмокивая, протрюхивал на санях-розвальнях какой-нибудь мужичонка, один из нас плюхался (только тише, тише!) в сани. До чего же приятно было — притаиться на сене, глядеть на отстающих товарищей и чувствовать себя одновременно и затаившейся мышью, и таким лихим наездником. А потом со сладким испугом услышать заметившего тебя мужика: «Вот я тебя, фулюгана!» — и вывалиться из саней в снег.

Забава продолжалась не одну зиму, до того дня, когда какой-то мужик, изловчившись, огрел меня по лицу витнѣм (плетью). Хорошо глаз не вышиб. Когда я пришел домой с багровым рубцом через всё лицо, мне еще и от мамы попало.

«КЛАДЫ»

Переехав в город, мама без конца что-то покупала из обстановки, что-то переставляла, а то и мы переезжали в другой дом. И как же мы любили эти переезды! Это совсем не то, что переезд на новую квартиру, где за пять минут всё обследовать можно: вот пустая комната, вот пустая кухня, вот пустая уборная — всё! Нет, новый деревянный дом — это большой неизведанный мир, полный тайн и неожиданностей.

Прежде всего (вернее, выше всего) — чердак. Как приятно было ходить под нагретой солнцем железной крышей, иногда по-хозяйски грохая по ней кулаком, копать в песке, насыпанном внизу, находя там то какую-то книжку, то сиденье от стула, то (самая ценная находка) портрет Николая II и Александры Федоровны в позолоченной (?) раме. (Мама наклеила на портрет самодержцев какую-то репродукцию, и она многие годы висела на стене.)

В порванной обшивке двери я заметил белый уголок и, дернув за него, вытащил пачку порнографических открыток. Долго рассматривал их, догадываясь, что это какая-то стыдная тайна взрослых. Мама, покраснев, вырвала их и бросила в печь. Я даже не успел показать их Шурке и Любке. Я догадывался, что эта тайна как-то связана с появлением детей. Когда родилась сестренка Алка, взрослые стали «пудрить мозги» моему любознательному брату Шурке: «Откуда Алку взяли? Да в магазине купили. На полочке лежат, ну, вот как куклы, только живые». И тут я вмешался в разговор: «Нет, Шурка, они их как-то сами делают» (реплика, вошедшая в анналы истории нашего «клана»); и через годы тетки подшучивали надо мной, студентом: «Ну чо, Вовонька, знашь теперь, как робетишек делают?»).

Но я отвлекся от результатов нашего кладоискательства.

Главные находки ждали нас в сарае. Там мы нашли полностью снаряженные удочки, а под стрехой — холщовый мешок с большой кучей бумажных денег. Взрослые были разочарованы: «Вот если бы вы золото нашли!» Мы же были на седьмом небе от пачек новеньких, хрустящих николаевских и «керенок». В войну мы делали из них игральные карты, в которые даже взрослые играли. А когда слух о находке разнесся по улице, среди ребятишек стало считаться дурным тоном не иметь «старинных денег», и мы обменивали их на бабки, картинки и самое дорогое для меня — книжки.

А в кладовке мы нашли старый, ржавый австрийский штык-кинжал. Не показывая взрослым (отнимут опять!), долго чистили его керосином и песком и тайком брали с собой в лес или на рыбалку. Тупой, с расщепленной деревянной рукоятью, он служил нам так, для «куражу», но — каждое незаряженное ружье раз в год стреляет... Вот и этот кинжал мог стать причиной трагедии. Было это уже после войны, когда я стал студентом и уехал из Воткинска. Мой брат Гера (16 лет) пошел на рыбалку и вдруг на безлюдных воткинских лугах встречает своего врага — нашего соседа Юрку Косачёва. Всего год назад (даже меньше) этот прибалтненый Юрка в драке ржавым гвоздем выколол Гере глаз, а тут кричит: «Эй ты, кривой, иди на... а то и без другого глаза останешься!» Гера выхватил из рыбацкой корзинки этот наш полудекоративный кинжал, бросил удочки, корзинку — и за Юркой. И почти догнал уже, но, слава Богу, споткнулся о какую-то кочку, упал, и этот подонок благополучно смылся.

ПРАЗДНИК В ВОТКИНСКЕ

При социализме число праздников в России удвоилось — к традиционным церковным праздникам прибавились революционные: 1 Мая, Октябрьская, День Сталинской конституции. И те и другие отмечались одинаково истоиво. Из старых праздников больше всего любили Пасху, а из новых — Октябрьскую (сено накошено, дрова заготовлены, овощи собраны — гуляй не хочу!).

На Пасху с раннего утра мама стряпала пироги, шаньги. Глотая слюну, мы вставали перед иконами, долго молились, жадно поглядывая на снесь на столе, завтракали. А потом — самое интересное: мы, ребятишки, идем христосоваться, поздравлять с праздником родственников. Входишь, крестишься: «Христос воскрес, тетя Клаша!» — «Воистину воскрес, милые сыночки!» — отвечает тетка и дает каждому по крашеному пасхальному яичку. После обхода родственников у каждого из нас собиралась коллекция (по десять и более) разнообразно раскрашенных яиц. Менялись ими с уличными ребятами, катали их по полу, вроде кеглей, а битые ели.

Ну а у взрослых праздники, и церковные, и революционные, выглядели (до войны, да и после войны) одинаково и выдерживались в лучших деревенских традициях. Тот же деревенский принцип подбора

гостей: «чужие» крайне редки, гости — сплошь родственники. Некоторых, помню, мои родители недолюбливали, но не пригласить кого-то — значит обидеть, потому набиралось гостей человек двадцать-тридцать, а то и больше.

Тот же, деревенский, стол: напиток один — брага; закуски — соленые огурцы, грибы, капуста; еда — сплошь мучная (пельмени, шаньги, пироги). И взрослым, и нам, детям, особенно нравился рыбный пирог. Цельные лещи или щуки запекались в том пироге и обильно присыпались луком и лавровым листом. В печи румяное тесто со всех сторон облегало начинку, всё впитывало в себя, все соки, все запахи. Вот эту-то корку, с одной стороны поджаристую, а с другой — душистую, влажную, усыпанную луком, ценили мы больше всего.

Хорошо помню эти праздники, поскольку мы, ребяташки, были тут же, сбивались в кучу на печи или на кровати и с интересом наблюдали за взрослыми.

Вот хозяйка церемонно приглашает гостей: «Милые гостеньки! Пожалуйста за стол, не побрезгуйте нашим угощением!»

Гости рассаживаются.

Тут снова появляются хозяин и хозяйка. Гости поют:

Это кто ж там идёт —

Это сам идёт.

А кого ж он ведёт —

Самоё ведет!

Хозяин не только «самоё ведет», но и (что не менее важно) несет большой эмалированный чайник браги и «обносит гостей» — одному за другим наливает в стакан брагу и, дождавшись, когда один гость выпьет, наливает в тот же стакан следующему. И так весь вечер. Только потом, в разгар веселья, хозяйка, как опытные диспетчеры, следят за гостями и «регулируют потребление». Помню, мама на кухне шепчет папе: «Зино, Николаю не подавай пока, он уж не в свою бродит (= неадекватно реагирует). Афоне вон поднеси, он чо-то совсем трезвый».

Для гостя же считалось совершенно неприличным налить себе самому браги или попросить, чтобы ему налили. Максимум, что могли

себе позволить (сговорившись между собой) жаждущие гости, это «тонкий намек» в виде частушки:

Вороны каркали,
Брагу гаркали (*вызывали*).
Мелки пташечки поют,
Редко брагу подают.

Впрочем, необходимость в подобных намеках обычно не возникала: «мелки пташечки» — хозяйева — порхали между кухней и гостями, снабжали брагой довольно исправно, так что в конце вечера мои дядья и другие мужики частенько «лыка не вязали». «Ну вот, опять налили шароньки-те! (= глаза)» — осуждали мужей мои тетки, тоже, честно говоря, не совсем трезвые. Однако благодаря хозяйевам гости двигались к этому кульминационному моменту достаточно равномерно, не обгоняя друг друга и не портя общего праздника.

Интересно, что курение настораживало, было редкостью, «табашшиков» даже среди мужчин в нашем роду не было. Пить постоянно тоже считалось ненормальным, но так вот, в праздник, «на людях» выпить (и крепко выпить) считалось нормальным. И, видимо, не только у нас, вспомните пословицы — и древние («Веселие Руси есть пити, не можем без того жити»), и современные («Пьян да умен — два угодя в нем», «Курица и та пьет») или старую русскую поговорку, формулирующую идеал счастья: «Сыт, пьян и нос в табаке». Помню, ругали одну «неудачную» свадьбу: «Ну что за свадьба? Половина гостей на своих ногах домой ушла!»

Жены довольно снисходительно относились к этой слабости своих мужей. Помню старую песню:

Коль придешь домой ты пьяненький,
Я словечка не скажу.
Спи, мой милый, мой румяненский,
Я постельку постелю.

Как меня удивило, когда много лет спустя, уже в Москве, одна наша сотрудница (из московской интеллигентной семьи) спела нам эту

народную песню и рассказала, что перед свадьбой пела ее своему жениху! (Потом он пенял ей за то, что она «не выполнила свои предсвадебные обязательства».)

В Воткинске осуждали скорее (даже немножко побаивались) людей непьющих. Впрочем, «деревенских» таких я что-то не помню, разве что «городские выкозюки». Но вот к хозяину предъявлялись строгие требования: пей, но будь трезвее самого трезвого из гостей, иначе стыд и срам.

Нам, ребятишкам, сваленным в кучи на кровати, на печи, по углам, кульминационный момент праздника не нравился, хотя и не пугал — ни ссор, ни тем паче драк даже на этой завершающей стадии никогда не было. Нравилась нам середина, разгар праздника.

Вот подвыпившие гости смеются, шутят, иногда опасно косясь на ребятишек. Кто-то успокаивает шутника: «Ничо! ничо! Они ишо ничо не понимают!» (ошибка, мы понимали уже довольно много).

Возникает, помню, оживленная дискуссия, касающаяся огненно-рыжей тети Лизы: везде ли она такая рыжая. Показания самой тети Лизы и ее мужа решено игнорировать, а требовали выбрать независимую медицинскую комиссию. Дядя Афоня прочит себя на пост председателя комиссии, но его кандидатуру под каким-то надуманным предлогом отклоняют, и две женщины уводят тетю Лизу на обследование в соседнюю комнатушку. Через минуту комиссия возвращается, и ее члены в испуганном изумлении всплескивают руками: «Ой-хой-хой, девки! Ведь рыжушшая, совсем рыжушшая!» Я понимал, о чем идет речь.

Бывали и действия на грани кощунства. Помню, наш дальний родственник, деревенский учитель Иван Алексеевич, одевался попом и гнусаво тянул: «Слава овсу и сену и свиному уху!» и подобную чушь. Видимо, это отголоски тех пародий на церковные службы, которые с давних времен были распространены и в Западной Европе, и в России и оживились в советское время.

Отвлекусь. Иван Алексеевич был охотник, но всякая там «аксаково-тургенево-толстовская» птичья мелочь его не интересовала, охотился на крупного зверя и однажды чуть не погиб. Подстреленный лось бросился на охотника, тот вскарабкался на дерево, но лось успел крепко зацепить его рогами. Иван Алексеевич рассказывал, как в мороз сидел на дереве без шапки, замерзал, истекал кровью, а сохатый

(лось), тоже истекающий кровью, стоял под деревом, топтал ружье. Лось упал первым, и чудом спасшийся Иван Алексеевич свалился с дерева и добрел, дополз до дому. Честно говоря, мне было больше жалко лося, чем охотника.

На празднике царил матриархат. Женщины были бойчее, именно они задавали тон и ритм веселью, одновременно следя (без особого успеха), чтобы не упились их благоверные.

Всё в этом празднике было традиционным, крестьянским, всё — кроме песен. Старинные русские песни не пели совсем, пели городские — «Шумел камыш», «По Муромской дорожке», «Златые горы», «Хаз-Булат», «Коробушка» (по Некрасовским «Коробейникам»). Мужики особенно любили «Ермака», ревели, сотрясая стены: «И бес-пре-рывно гром гре-ме-е-е-ел!..»

Пели и новые, революционные песни, такие как «По долинам и по взгорьям». Никто не подозревал, конечно, что это — марш белогвардейцев-дроздовцев, переделанный красными для своих нужд, как и многие другие песни времен Гражданской войны. Ведь даже такая популярнейшая песня, как «Смело мы в бой пойдем / За власть Советов / И как один умрем / В борьбе за это», уворована у белых:

Смело мы в бой пойдем
За Русь святую
И как один прольем
Кровь молодую.

Пели «Там вдали за рекой» — это была моя любимая, трогаящая до слез:

Он упал возле ног вороного коня
И закрыл свои ясные очи:
«Ты, конёк вороной, расскажи дорогой,
Что я честно погиб за рабочих...»

(Какая самоотверженность в борьбе за ложную, навязанную извне идею, гибельность которой была уже тогда очевидна для «белых», а для нас вскрылась только через десятилетия и последствия которой

предстоит изживать и нам, и детям, и внукам, и, боюсь, правнукам нашим!)

И самое странное, пожалуй, — любили на гулянках петь «Проводы» Демьяна Бедного! Меня уже тогда удивляло, как родичи мои, люди верующие, сбежавшие из деревень от коллективизации (а кто и от раскулачивания), могут бойко, задорно петь слова советского «поэта-гуманиста»:

Что с попом, что с кулаком
Вся беседа —
В брюхо толстое штыком
Мироеда!

Но вот — пауза возникает, все чего-то как будто ждут. Мама, которая обычно была заводилой, толкает гармониста («Ну-ко, Афоня, давай!»), выскакивает на середину комнаты, поет «для разгона», обращаясь к хозяевам:

Разрешите поплясать.
Разрешите топнуть,
Неужели в вашем доме
Половицы лопнут?

Потом вызывает кого-нибудь из мужиков:

Я плясала, топала.
Вызывала сокола,
Я такого сокола —
Ростом невысокого.

«Сокол» с грацией медведя топчется возле мамы:

Ты пошто ко мне не ходишь?
Я пошто к тебе хожу?
Ты пошто меня не любишь?

Я пошто тебя люблю?

Не отвечая на заданные вопросы, мама вытягивает других мужиков и баб. И то один, то другой запевают частушки, а остальные подхватывают.

Народ всё очень смирный, а частушки — разудалые, в стиле «Провались земля и небо, мы на кочке проживем»:

Я отчаянный родился
И отчаянный хожу.
Если мне башку отрубят
Я баранью привяжу.
Эх, пить будем и плясать будем,
А смерть придет — помирать будем.
Эх, смерть пришла,
Меня дома не нашла,
Нашла в кабаке
С четвертиночкой в руке.
Мы по улице идем,
Чо-нибудь да делаем:
То оконницы ломаем,
То за девкам бегаем.

Поясню. В разных пермских говорах творительный множественного оформлялся по-разному, и всё не так, как в литературном языке. Бегали за *девками* только в городах. На севере Пермской области бегали за *девкима* или за *девкама*, у нас же, на юге области — бегали за *девкам* (впрочем, об этом я еще буду писать).

Конечно, больше всего частушек на празднике — про животворную силу любви:

Старуха старая-престарая,
Ходила с батогом.
Полюбила молодого
И забегала бегом.

Много частушек про *милого* (он же *дроля*) или про *милую*, она же *матаня*, она же *шмарочка*, она же *милашка*, она же *ягодиночка*, она же *сухотиночка* и даже *сербияночка* (отголосок войны с турками за освобождение Болгарии и Сербии); капризная память сохранила только одну частушку про сербиянку, довольно странную:

Сербиянка шьет портянки
В огороде, в борозде,
Интересные портянки —
Из одной выходят две.

Были (правда, редко) и частушки про «вождей революции», чаще всего про Клима Ворошилова — общепризнанного эталона мужской красоты, чьи портреты висели во многих учреждениях;

У моёго-то милого,
У моёго милого,
Брови чёрны, глазки кари,
Как у Ворошилова.

Были, наконец, и шуточные экспромты «на злобу дня», например про моего дядю-гармониста:

Ты, Афоня, Афанас,
Чо ты работаешь?
Петух теленка обосрал,
Наверно обтираешь.

Об унылости русских песен не писал только ленивый — и иностранцы писали, и сами русские — и великие, и не очень. Ярче всего эту мысль выразил Пушкин:

Фигурно иль буквально: всей семьей.
От ямщика до первого поэта.

Мы все поем уныло.

Так, да не совсем так, вернее — не всегда так: на празднике, особенно в частушках, царили шутка и веселое озорство.

Мы, ребяташки, сбившись на кровати или на печи, с интересом наблюдаем за взрослыми, слушаем песни, гармошку. И этот с детства впитанный наигрыш гармошки до сих пор трогает в моей душе какие-то струны.

Видел я в жизни много праздников, у разных народов. Пусть не погневаются на меня люди, влюбленные во всё русское: пляскам моих родичей далеко было до грациозности и отточенности движений в кавказских танцах, а пению — до торжественно-мрачноватой слаженности грузинского хорового пения. Но было главное — настоящее веселье, умение полностью расслабиться и набраться душевных сил для дальнейшей нелегкой жизни.

В наше время «стирания всех и всяческих граней» (между городом и деревней, трудом умственным и физическим, даже между мужчиной и женщиной) стирается и грань между работой и отдыхом. Раньше она была очень резкой. Праздник — это полное отрешение от всех дел и забот.

Вернемся к праздничному столу. Время от времени кто-нибудь из теток хватал со стола конфеты, куски шаньги, подбегал к нам, ребяташкам, совал в руку: «На-ко, Вовонька, милый сын!» — и снова нырял в общую сутолоку, выкрикивая частушки.

Жалко мне было на этих вечерах только гармониста, который, свесив голову на мехи, пиликал на гармошке и, казалось, совсем не участвовал в общем веселье, да моего папку, который как-то не умел в него включиться. Часто уходил к нам за занавеску. Прибегала мама: «Да ты чо, Зино? Пойдем плясать!» — «Иди, иди! Я с робетишками маленько побуду». — Может, уже чувствовал он близкую смерть?..

ЦЕРКОВЬ

Религия в жизни моих родичей, вчерашних крестьян, занимала скромное место. Воткинские монастыри (и женский, и мужской) большевики закрыли, из церквей действовала только одна, но и в нее

мои родичи ходили редко. А для нас, детей, эти походы были почти так же мучительны, как походы в баню: вытаращив вначале глаза от великолепия и красоты убранства старой церкви, мы быстро уставали и просились домой. Мама молилась перед иконами дома, а мы, ребята, знали только «Отче наш».

Неукоснительно соблюдались лишь два обряда — крещение и погребение (венчались даже и перед войной далеко не все).

Обряд крещения мне и моей двоюродной сестре Любке очень нравился, и мы (11–14-летние ребята) нередко выступали там крёстными отцом и матерью. Интересно было получить из купели, из рук попа, визжащего, извивающегося младенца, держать его на руках. А потом — праздничное угощение у родителей младенца. Смешило нас с Любой, что после этого обряда мы становились друг для друга *кумой* и *кумом*.

Помню, шутили: «Кумушка, а ты алгебру к завтрашнему уроку выучила?» — «Ой, куманёк! Чо-то не решается одна задача, помоги!» — «Кумушка, мне дивно это! Да работала ль ты лето?»

А по отношению к новоокрещенным мы становились крёстными отцом и матерью, и вот эта связь не была формальной. Люба всю жизнь называла мою маму *кока* (= крестная мать), а я называл тетю Толю *крёсна* и выделял ее из других теток как вторую мою мать.

КНИГИ

И родители, и мои близкие родственники были неграмотными или полуграмотными. Откуда же во мне такая фанатичная любовь к книге?!

Когда я (пятилетний) лежал в больнице со скарлатиной, кто-то из больных показал мне буквы, и с тех пор книги стали главным в моей жизни.

После больницы я, наткнувшись в книге на непонятный знак, бежал к взрослым: «Это какая буква?» Родители относились к этой моей страсти двойственно: им и льстило, что пятилетний Вовка свободно читает (по тем временам в наших краях это было величайшей редкостью), и настораживало: «Ну вот, опять читат! Шел бы да отцу помог, построгал, поучился маленько!» И тратить деньги на эту блажь, книги, им было жалко (да и не было этих денег). И все-таки

каждый раз, как мама уходила «в центр», в магазины, я просил ее «купить книжку». Потом становился на колени в красном углу, перед иконами и молился: «Господи, сделай, чтобы мама купила мне книжку!»

Бог крайне редко удовлетворял мою просьбу. Огорченный, но без упреков, я уходил в сторону от вернувшейся без книги мамы.

Много лет спустя мама говорила мне: «Да если бы я знала, что тебе так надо, неужто бы не купила!» У родственников тоже книг в доме не было. Поэтому на всю жизнь запомнился мне день, когда соседка, узнав о моем «чужачестве», сказала, что есть такое место, *библиотека* называется — би-бли-о-тека, на улице Кирова, перед гастрономом, на втором этаже, и там бесплатно дают почитать книги.

На следующий же день я упросил маму пойти в библиотеку, записался, взял первую мою библиотечную книжку. Мама пошла в магазин какой-то, а я — домой. Но удержаться-то невозможно! Открыл книжку («Булька» Льва Толстого в серии «Книга за книгой»), рассказ довольно большой, но по пути домой я его прочитал. Что делать? Повернулся и обратно в библиотеку. Прочитал, говорю. «Когда ж это ты успел?» Стали гонять по книжке и, убедившись, что не вру, дали другую (книг было мало, и давали только по одной).

Вскоре мне предстоял там следующий экзамен — по «Чапаеву» Фурманова. Насмотревшись модного тогда фильма, наслушавшись песен про «гулявшего по Уралу Чапаева-героя», я попросил книгу Фурманова (кстати, и сама библиотека носила имя Фурманова). Дали, но предупредили: «Это взрослая книга, не для шестилетнего, сам увидишь». Когда вернул, устроили экзамен по книге и убедились, что прочитал (хотя, конечно, многое не понял).

Вспоминаю моё никем не направляемое чтение. Что достал, то и читаешь. И с каким трудом я доставал книги! За «Детей капитана Гранта» (без первых двадцати страниц) я целый месяц носил молоко на другой конец Воткинска. Какая ужасающая получалась мешанина из стран, эпох, литературных стилей: Беляев и Гёте, Фурманов и Мопассан, Лермонтов и Барто! И всё это в совершенно произвольном порядке: «Божественную комедию» я читал (честно говоря — без восторга, честно говоря — не дочитал!) раньше, чем «Буратино» Алексея Толстого. Представьте себе большую библиотеку, где человек с завязанными глазами наугад берет с полок книги.

Читал учебники старших двоюродных сестер Тайки и Нюрки, даже придирался к тексту, проявляя раннее лингвистическое занудство. Помню назидательное стихотворение:

Вот те на — разбила чашку!
На кого же мне сказать —
На Каштанку иль на Машку
Или просто промолчать?
Лгать, хитрить и запираяться
Все — «так плохо!» — говорят.
Нет, уж лучше мне признаться.
Пусть немножко побранят!..

Я возмущался: «Почему *те на* написано отдельно и с маленькой буквы? Надо писать *Тена!*» (я думал, что чашку сокрушила девочка по имени *Тена*).

В школе стало легче — у моего школьного друга Коли Нельзина на полке под письменным столом лежало довольно много книг, да и у других моих товарищей дома были книги.

Помню, Колька Нельзин дал мне почитать комплекты журнала «Вокруг света» за 1928–1930 годы — с тем, чтобы я предварительно «навел там порядок». Такое богатство — громадная пачка, и сколько там событий, приключений! Придя домой, я сначала огорчился. Ощущение было такое: каждый номер разобран по листочкам, а потом эти листочки (большая кипа за три года) были растасованы как игральные карты. Но оказалось, что это даже интересно: по содержанию, по словам, даже по окончаниям слов искать в пачке листов продолжение и создавать из хаоса — порядок. Помню: пилим мы с братьями дрова (мама на неделю ушла на жатву в окрестные деревни зарабатывать муку и приказала нам распилить и расколоть машину дров, которые были свалены во дворе). Чувствую, что младшие братья устали. Я, глава семьи на это время, даю отбой и бегу на терраску к любимой разбираемой кипе листов.

А результат! В конце 20-х журнал «Вокруг света» был интересный, еще не скованный советской цензурой. Приводились любопытные сведения — географические, исторические, медицинские

даже. Запомнилась небольшая заметка про рак. Меня поразило не столько даже то, что болезнь неизлечима, сколько само ее название: я представлял себе большого черного рака, который навечно поселяется в человеке и клешнями рвет его внутренности.

Многое из тех журналов запомнилось на всю жизнь, даже немудрящий юмор (например, из рубрики «Как самому...»). *Как самому вывести цыплят? Купите 500 г яичного порошка; разделите его на 10 (равных!) частей; посадите на них курицу; если через две недели цыплята почему-либо не выведутся, снимите курицу, а из сэкономленного порошка приготовьте вкусный и питательный омлет).* Но больше всего мне нравились, конечно, художественные произведения. С каким захватывающим интересом читал я, например, фантастические романы Беляева «Продавец воздуха» и «Голова профессора Доуэля»!

В 44-м году, приехав к деду в деревню, я увидел любопытную сцену. Действующее лицо — постоялец деда, Павел Васильевич, боец трудармии, рыжий краснорожий мужик, похожий на товарища Сухова из «Белого солнца пустыни» (позднее он женился в Песках и погиб в самом конце войны: его теща оставила на столе сметану с мышьяком, чтобы травить крыс, а он, голодный, вернувшись с поля, с аппетитом съел эту сметану). Так вот, этот Павел Васильевич терзает страничку какой-то книжки и делает из нее самокрутку. Я беру книжку, читаю... Что-то интересное... Оказалось — второй том романа Дюма «Двадцать лет спустя» (в замечательном издании Academia)! Несколько раз от корки до корки прочел я в то лето этот роман (точнее — полромана) и, вернувшись в Воткинск, почти дословно пересказывал моему другу Кольке Нельзину, конечно, в первую очередь — поединки. Я и сейчас их помню:

— А! — сказал д'Артаньян. — Теперь тебе уже некуда отступить, любезный! Господа! — продолжал он, сжимая губы и хмуря лоб, — видали вы когда-нибудь скорпиона, приколотого к стене? Нет? Так смотрите же...

В одно мгновение д'Артаньян нанес Мордаунту три ужасных удара. Все три едва коснулись его, д'Артаньян не мог понять, в чем дело... и т. д.

Позднее, в 45-м, мы записались в переплетный кружок при Воткинской библиотеке им. Фурманова (не из особой любви к

переплетному делу, а чтобы брать любые книги на дом) — и с книгами стало совсем хорошо. Заведующая библиотекой Зинаида Дмитриевна Некрасова, ее младшая сестра Руфа, другие библиотекари (точнее — библиотекарши) умели создать удивительно теплую, домашнюю атмосферу. Немало комплектов журналов или книг, зачитанных до дыр, рассыпавшихся буквально по листочку, было — между болтовней, смехом, детскими шалостями — переплетено нами на допотопном библиотечном оборудовании. И особенно приятно было читать потом такую книгу, остро пахнущую клеем, тобой переплетенную.

В этом возрасте каждая книга — это как бы еще одна дорога, которую ты можешь выбрать. Ты можешь стать пятнадцатилетним капитаном, или Оводом, или мустангером Морисом Джеральдом (но не повторишь при этом его ошибки и выберешь, конечно же, не блеклую, пусть прекрасную блондинку Луизу Пойндекстер, а жгучую темпераментную креолку с длинным и красивым именем — Исидора Коварубио де Лос-Льянос).

Больше всего мы с Колькой Нельзиным мечтали о морях, о плаваниях в дальние страны. Я, однако, стал филологом, бумажным червем, но вот в Коле осуществилась мальчишеская наша мечта: он действительно стал моряком дальнего плавания. Какой-то морской волк сказал по сходному поводу: «Ничего не хочу сказать обидного о людях сухопутных. Просто каждому свое: орел ширяет в небесах, червь копается в дерьме». Многие годы орел (Коля) плавал (*ходил?*) на торговом судне в должности штурмана, старшего помощника капитана и наконец капитана дальнего плавания. В капитаны был произведен с громадным опозданием, поскольку неизменно отказывался вступить в партию, что при социализме для капитанов дальнего плавания считалось обязательным.

Вернемся к книгам. Даже сейчас, спустя многие годы, помню, когда, в какой обстановке читал ту или иную книгу. Считал страницы очередной книги: прочитано 87, а всего в книге 260, значит, большая часть блаженства еще впереди! Спасибо вам, авторы книг, каждая из которых была событием в моей жизни. Это Дефо, Жюль Верн, Майн-Рид, Стивенсон, Дюма, Гюго, Диккенс, Марк Твен, Конан Дойл, Киплинг, Джек Лондон. Помню, свет опять отключили, я один в доме, читаю при свече «Страшную месть» Гоголя. Волосы дыбом, но очень

приятно. А как мы любили «Тараса Бульбу», «Вечера на хуторе близ Диканьки»!

Читал я в те годы всё, что попадалось под руку, и среди этого «под руку попавшегося» были и Сервантес, и Рабле, и Шекспир, и Библия, и многие русские писатели, но — я не включаю их в этот список... Помню, Колька Нельзин подарил мне на день рождения «Мертвые души» Гоголя. Как же я обрадовался этому подарку! Гоголь! Это тот, кто «Тараса Бульбу» написал?! И как же я был разочарован, начав читать книгу!.. Меня больше всего интересовал сюжет, я предпочитал приключенческую литературу литературе, которую я ощущал как «серьезную, да больно скучную». И я помню, как поразило меня в «Хронике времен Карла IX» Мериме сочетание захватывающе интересного сюжета с какой-то колдовской силой и изысканной грациозностью описания. Мериме и сейчас остается для меня одним из любимейших западных писателей.

Стихи, признаюсь, я читал только «за неимением лучшего», но вот баллады Жуковского покорили сразу — и содержанием, да и формой, пожалуй. На всю жизнь запомнилась концовка «Лесного царя», отчаянные попытки отца ускакать от Лесного царя, зовущего его сына в лесное царство:

Ездок оробелый не скачет, летит;
Младенец тоскует, младенец кричит;
Ездок погоняет, ездок доскакал...
В руках его мертвый младенец лежал.

Помню, что поразила меня не только неотвратимость гибели, но и сила, динамика самого стиха. А другая баллада, «Замок Смальгольм», сама по себе мне не очень даже понравилась, гораздо меньше других баллад, — поразила и запомнилась на всю жизнь именно чеканная поступь стиха;

До рассвета поднявшись, коня оседлал
Знаменитый Смальгольмский барон;
И без отдыха гнал, меж утесов и скал,

Он коня, торопясь в Бротерстон.

Не могу поэтому согласиться с Владимиром Новиковым, который в книге «Роман с языком» говорит; «Пятнадцатилетний подросток <... > не в состоянии эстетически воспринимать русскую литературу XIX века».

Пушкин входил в мою жизнь постепенно, отдельными стихами, поэмами, повестями — и навечно. Первое знакомство с Пушкиным — через Лермонтова. Мне шел шестой год, когда зимой 37-го года в газете «Правда» я прочел стихотворение Лермонтова «На смерть поэта», напечатанное по случаю 100-летия гибели Пушкина, до слез меня тронувшее и заставившее заинтересоваться Пушкиным.

Мама как-то возмутилась: «Да чо ты в них, в книжках этих, такого уж хорошего нашел?» Я стал читать ей «Очарованного странника» Лескова, и с тех пор чтение вслух превратилось в нашей семье в обычай. Так и вижу: мама, как всегда, стучит на машинке (швейной), братья на кровати, а я лежу на сундуке, прижавшись к теплому боку русской печки, и читаю что-нибудь вслух. Или другая сцена, менее обычная. Не просто сильный — страшный мороз, за 50 градусов. Деревянный наш домишко невозможно протопить в такой мороз. Мы (все пятеро!) умудрились угнездиться на теплой печи, ногами в середину. Прикрылись одним одеялом. На приступке печи, под самым потолком — керосиновая лампа. При ее скудном свете мама что-то шьет, а я читаю вслух (помню — «Джерри-островитянин»). И вот эту милую привычку, так сплывающую семью, я сохранил на всю жизнь. Даже сейчас, на склоне лет, мне трудно уснуть, если мы (все уже взрослые!) не почитаем перед сном что-нибудь вместе, хотя бы 10–15 минут.

Как слаб человеческий язык (да что кивать на язык — как слаб мой язык!). Я не смог передать даже в слабой степени мое преклонение перед литературой, обозначить ту роль, которую книга сыграла в моей жизни.

Горький писал, что всем хорошим в себе он обязан книге. Я тоже могу так сказать, правда — с оговорками. Чтение разделило, даже расколело, мой детский мир на два. Один — это окружающий меня реальный мир. Другой мир, по кусочкам складывающийся из книг,

газет, радио, — мир, включающий в себя и книжных героев — Овода, Мориса Джеральда, Д'Артаньяна, и «советских героев» — Чапаева, Буденного, Папанина. И именно этот второй мир (сочетающий фантастическое и реальное, но бесконечно далекое) казался настоящим, в который я непременно попаду из окружающего меня мира.

Книги учили уважению к личности, приучали к мысли, что с врагами бороться — да, нужно, а между собой, между пионерами, между комсомольцами нужны дружба и согласие. А жизнь постоянно опровергала эти догмы. Вот приезжаю в деревню к деду. И местный парень моего возраста, Алька, «на дух меня не принимает». Он сразу спросил меня: «Ты ковыряный?» (эвакуированный), но даже узнав, что нет, не ковыряный, всё-таки чувствовал во мне что-то чуждое и всячески меня допекал. Вот иду на ключик (в деревне слова *ключ* не было, только *ключик*: «Вовка, ну-ко, сбегай по воду на ключик!»). Набираю в ведро воду, а Алька сверху, с пригорка, бросает обломок доски, в меня не попадает, но доска, плюхнувшись в грязь около источника, забрызгивает грязью и набранную воду, и меня. Я человек миролюбивый, усвоивший от мамы и других взрослых, что драться нехорошо (учителя говорили — *аморально*). Но я не труслив, и когда, доведенный до крайности, я встретил как-то Альку на улице, во мне разыгрался «древний Адам». Я набросился на него (явно, более сильного), и моя ярость сыграла роль. Он отступил.

Интереснее (и пожалуй, грустнее) другое. На следующий день в деревню *привезли кино* (помню — «Адмирал Нахимов»). Это всегда было великое событие, повторявшееся лишь несколько раз в году. Собирались все жители от 3 до 100 лет. Если была хорошая погода, то экран-простыню вывешивали на наружной стене конторы (она же — деревенский клуб), и все сидели под открытым небом на лавках или прямо на траве. А если погода плохая, то примитивненький проектор стрекотал в самой конторе (реквизированный дом моего дяди Афони, я о нем уже говорил). В тот вечер погода была плохая, народу в конторе — уйма. Я ищу местечко и вижу врага — Альку, с его приятелем. Я приготовился к бою, «решил дорого продать свою жизнь». И что же слышу? — «Вовка, я тебе место занял, вали сюда!» И потом мы не раз играли вместе, оказался неплохой парень. Бедняга, через два года он погиб: в солнечный осенний день уснул на поле в борозде, и не

заметивший его тракторист краем многолемешного плуга раскроил ему голову.

Тогда, в этом клубе, я (увы, уже не в первый раз) понял, что большинство людей — у нас (а может, и везде?) — живет «не по-книжному»: плевать им на справедливость, честность, доброту, товарищество и прочие книжные благоглупости, они уважают — силу (и физическую больше, чем духовную). Между тем и мама, и школа, и книги убеждали меня, что драться с товарищами — нехорошо. И я продолжал послушно следовать этому принципу, хотя и трусом не был, и был не так уж слаб. А от скольких колебаний, мучений, унижений избавила бы меня иногда добрая драка типа той драки с деревенским Алькой! Ей-богу, я человек отнюдь не кровожадный, но я жалею, что мало дрался в детстве!

Ну и еще об одном жалею — о том, что ради книги готов был отказаться от всего другого. На всю жизнь запомнился мне такой, мелкий казался бы, эпизод. Приходит ко мне Колька Нельзин и зовет кататься на лыжах. А у меня — редкий случай, когда я свободен от домашних дел и уроков (воскресенье), читаю интересную книгу (помню — «Патент АБ» Лидина). Я отказываюсь. Он уходит со словами: «Мертвый в гробе мирно спи, / Жизнью пользуйся живущий», а я, несколько смущенный, возвращаюсь к чтению.

«Свободный полет мысли»? Признаюсь, мысль моя редко воспаряла очень уж высоко («Вот звезды. А за ними — еще звезды, и еще, и еще, и еще... А дальше-то что?»). Большинство вопросов и недоумений (с которыми я почему-то не обращался к взрослым) были вполне земными, даже потребительскими. Помню две неразрешимые для меня загадки: «Почему соленое масло дешевле несоленого? Ведь тут добавлен пусть недорогой, но еще один продукт?!»; «Стенные и ручные часы одинаково показывают время. Почему же стенные, на которые пошло гораздо больше металла, дешевле ручных?!»

«СВЕТЛЫЕ ИДЕАЛЫ СОЦИАЛИЗМА»

Энтузиазм 30-х годов — не миф. Он был. И понятен его секрет. Беранже написал замечательные стихи (многие знают их лишь по пьесе Горького «На дне»):

Господа! Если к правде святой
Мир дорогу найти не сумеет,
Честь безумцу, который навеет
Человечеству сон золотой!

И большевики сумели навеять громадной стране «сон золотой». Мы жили нищие, бесправные, но верили, что мы живем в самой счастливой стране, что будущее — за нами, что трудности — временные. В этом нас убеждали школа, радио, кино, книги. Как я любил Гайдара, особенно «Чука и Гека»! В Чуке я сразу почувствовал родственную душу, ну а Гек — это, конечно, мой неугомонный братец Гера. До сих пор помню концовку рассказа «Голубая чашка» (он и сейчас кажется мне очень светлым и милым): «Золотая луна сияла над нашим садом. Прогремел на север далекий поезд. Прогудел и скрылся в тучах полуночный летчик. А жизнь, товарищи, была... совсем хорошая!»

И вдруг, проснувшись от «сна золотого», мы увидели, что человечество далеко ушло вперед... Но не это самое страшное: нас, беззащитных, спящих, большевистские вожди и их подручные убивали (и не в переносном, а в самом прямом смысле) — миллионами, десятками миллионов...

Удивительное дело — взрослые совершенно не противостояли шумной коммунистической пропаганде — если не считать невинных шуточек вроде переименования ВЛКСМ (Всесоюзный ленинский союз молодежи) в ВЕЯЛКУ СЪЕМ или немудрящих стихов типа:

Так, — сказал бедняк, —
В колхоз пойду, а работать не буду.
Милые детки,
К концу пятилетки
Протянете ножки
С колхозной картошки.

Какова сила пропаганды! Мы, не только дети, но и большинство взрослых, не понимали, что Гражданская война — это не

самоочищение русского народа, это — его самоистребление (не самоубийство ли?)! Стыдно признаться: я, наверно, мог бы, как Павлик Морозов, донести на родного отца! Но — мой папа-водовоз был лоялен к советской власти...

Сначала я, естественно, был примерным октябренок. Как жалел я, что родился слишком поздно, как завидовал тем, кто героически сражался с беляками, которые рисовались мне чем-то вроде громадных, в человеческий рост, белых мучных червей в шинелях. Поэтому, помню, так смутила меня случайно попавшаяся повесть Куприна «Юнкера». Беря книгу, я думал, что она — о Гражданской войне, о борьбе с юнкерами. В самом слове *юнкера* слышалось мне что-то металлически-безжалостное. И вдруг вижу, что юнкера — это обыкновенные озорные мальчишки, как мы. Как же так? Ведь это они, или такие как они, в Петербурге защищали преступное Временное правительство, а в Москве зверски убивали в уличных боях красных рабочих бойцов? И трагедия народа, ввергнутого в пучину страшной братоубийственной войны, впервые чуть-чуть приоткрылась мне. Но я не пустил эту мысль в глубины своего сознания, стал впоследствии примерным пионером, потом убежденным комсомольцем.

И только позднее (преодолев лозунги: «Лес рубят — щепки летят», «Высокая цель оправдывает средства» и т. п.) я пришел к пониманию бесчеловечности и экономической несостоятельности социализма. И как же труден был этот переход!

Один из русских поэтов XIX века (кажется, Огарёв) писал:

И я сжег всё, чему поклонялся.
Поклонился тому, что сжигал.

Нам пришлось труднее: мы не поклонились — мы прокляли то, что сжигали и чему поклонялись раньше...

Но — не будем осуждать тех, кто не смог перейти этот Рубикон и старческой рукой потрясает на демонстрациях красной тряпкой или портретом «великого Сталина», добившего Россию, раненную его великим предшественником. Ведь с детства, во все наши детские и юношеские годы нас призывали: «К борьбе за дело Ленина-Сталина будь готов!», и мы отвечали: «Всегда готов!» А знаете, какая в

школьные годы была наша самая страшная клятва, «честное-пречестное» слово? — «Честно Ленина, честно Сталина, честно всех вождей!»

Первый увиденный мной фильм — «Праздник святого Йоргена». Замечательный, талантливый во всех отношениях фильм. Но — тем хуже... В моей детской душе он и ему подобные произведения выработали на многие годы (не на всю ли жизнь?) «иммунитет против религии», и я не задумывался больше над этим «решенным» вопросом. А задуматься — не мешало бы...

Как затухающие волны, события, потрясавшие мир, доходили до наших краев. Мы напряженно следили за войной в Испании в 36–38-м годах, горячо желали (вместе с Ольгой Берггольц), «чтоб у гор Сиерра-Гвадеррама победил неистовый народ». Все ребята в Воткинске ходили исключительно в испанках (шапочки с кисточкой, похожие на пилотки).

Позднее, осенью 39-го года, мы радовались освобождению Западной Украины и Западной Белоруссии от «панской Польши», не задумываясь о том, что наша страна, как шакал, набросилась на беззащитную, поверженную гитлеровской Германией родственную славянскую страну. Интересно, однако, что в песенках тех времен (типа: «Русский, немец и поляк танцевали краковяк»), в многочисленных анекдотах высмеивались в основном всё-таки не поляки, а наши союзники — немцы. Помню один анекдот на эту тему.

Русский, немец, поляк и девушка едут в поезде. В темном туннеле слышится звук поцелуя и — звонкой пощечины. Туннель кончился, и что же кто думает? Девушка: кто-то из мужчин по ошибке поцеловал не меня, а другого мужчину и получил от того пощечину. Поляк: русский или немец поцеловали девушку и получили от нее пощечину. Немец: русский или поляк поцеловали девушку, а она подумала на меня и вlepила мне пощечину. Ну а русский — поцеловал свою руку и вlepил пощечину немцу.

Репрессии? Наверное, они были в городе, где располагался крупный военный завод. Но то ли масштабы репрессий были сравнительно невелики, то ли слухи не доходили до моих родичей — водовозов и конновозчиков, то ли они боялись говорить об этом, но единственное, что я помню на эту тему, — рассказ о репрессированной деревенской старухе. В ноябрьские праздники пошла она «на

огоньки». Это было в революционные праздники главным, почти единственным украшением центра Воткинска — большие портреты вождей — членов Политбюро, обрамленные электрическими лампочками. Весь город туда ходил, и, конечно, мы, ребяташки. Мама вешала каждому на грудь связку сушек. Приятно было глядеть на огоньки, на портреты, иногда ломать и сосать сушку и знать, что их у тебя еще много.

Так вот, та старушка загляделась на портреты вождей, споткнулась, подвернула ногу. Ее подняли: «Что с тобой, бабушка?» А она махнула рукой на портреты вождей: «Да вон, на бисей-то (= на бесов) загляделась!» В наших краях это было обычное выражение досады, точно так старуха могла сказать, споткнувшись из-за своих играющих внуков, но — ее осудили за антисоветское высказывание. Возможно, это и анекдот, но характерный для того времени.

ДВА ШИШГУТА

Так тетя Клаша называла меня и мою «куму» — двоюродную сестру Любу. Видимо, потому, что были мы очень дружны и всюду ходили вместе. В словаре Владимира Даля *шишгут* определяется как слово новгородское или пермское со значением «шалун, повеса». Но не такие уж мы с Любой были «шалуны и повесы», особенно я. Хотя Люба была девчонка и намного (на целых полгода) младше меня, первенство в нашей паре, бесспорно, принадлежало ей. Благоволивший ко мне дядя Ваня, помню, однажды не выдержал: «Да чо это Любка тебя совсем засеяла?! Не поддавайся ты ей! Скажи: мать твою так Любку!» И я чуть слышно пробормотал: «Ма-а-ати так...» и после долгой паузы: «...У-у-убку!» И после этого дядя Ваня уже не пытался бороться за мою эмансипацию.

Мы были неразлучны с Любой и, когда пришло время идти в школу, очень боялись, что ее не примут — ей было семь с половиной, а тогда строго принимали в первый класс только восьмилетних. Но скоро наступил торжественный радостный день 1 сентября (1939 года), мы оба пошли в школу — конечно, в одну (имени Тельмана), конечно, в один класс, конечно, за одну парту.

ШКОЛА

Я о ней мечтал, и она меня не разочаровала.

Воткинские школы располагались в больших добротных кирпичных зданиях, классы светлые, чистые. А главное — столько интересного говорят на уроках! Правда, мне было скучновато, когда показывали буквы, читали по складам, учились считать до десяти: я уже до школы свободно читал, писал, знал начала арифметики. Я, конечно, засиделся дома, мне нужно было идти в школу раньше или сразу во 2-й класс, но тогда такое было совершенно исключено.

Естественно, я был первым учеником. Но я был и самым дисциплинированным. Случалось быть нарушителем спокойствия, но совершенно произвольно. Вот в первом еще классе, стою у доски. Случайно заглядываю в окно и вижу, как медленно, даже картинно как-то, опрокидывается проезжающая мимо коляска, и седоки вываливаются в песок! Пораженный, я тычу в стекло рукой и истошно кричу (по нашему, на пермском диалекте): «Телега-та обнавалилася!» Ребята, прыгая через парты, бросаются к окнам, а я получаю первое (увы, не последнее) замечание за сорванный урок.

Была у меня одна слабость, о которой «старые» учителя знали и прощали мне ее, а новые — даже из класса меня выгоняли. Это — моя крайняя смешливость. Вот на уроке русского языка задают нам вместо точек подставить в слова уменьшительно-ласкательные суффиксы, и Вера Котырло совершенно произвольно спаривает основы с суффиксами и звонким пионерским голосом зачитывает нам длинный список слов-монстров: *Иванчик, стаканушка*... Дочитать она не может. Смеется Розалия Михайловна, смеется весь класс. Ну, они посмеялись и перестали, а я-то остановиться не могу! И — позор! — получаю замечание: «Санников, хватит уже, посмеялись!». Утихаю, но, как Фалалей Достоевского, который старается не видеть во сне белого быка и, конечно, только его и видит, я стараюсь не думать об Иванчике и стаканушке, но услужливое воображение снова и снова рисует мне их — маленького, гаденького Иванчика и дебелого, чванного стаканушку. Я кусаю пальцы, закрываю рот руками, но смех, долго сдерживаемый, прорывается с особенной силой, и вслед за мной хохочет весь класс. Естественная реакция учителя: «Санников, выйди из класса!»

Или вот пишем изложение стихотворения Лермонтова «Беглец», про черкеса Гаруна (который бежал быстрее лани с поля брани), и,

заглянув в тетрадь товарища, Володи Айрапетова, я вижу везде *Гарпун* вместо *Гарун*, представляю себе бегущий быстрее лани гарпун — и снова неудержимый смех...

Посмеялись и над Пушкиным, над совсем, казалось бы, не смешным стихотворением «Песнь о вещем Олеге». Дойдя до строк: «Так вот где таилась погибель моя! Мне смертию кость угрожала!», кто-то из моих товарищей с пафосом продекламировал: «Так вот где таилась погибель моя! Мне костию смерть угрожала!», и я представлял себе смерть — скелет, потрясающий большой обглоданной «костию».

* * *

...Перечитал я написанное и подумал (как, наверно, подумали и вы): «Какое интересное, богатое впечатлениями детство — естественное, близкое к природе!» Дорогие! Вряд ли смогу (да и не хочу) передать, каким оно было тяжелым, мое детство... Основные трудности начались с болезни отца.

БОЛЕЗНЬ И СМЕРТЬ ОТЦА

В конце 38-го года папа заболел туберкулезом. Это и неудивительно — повози-ка целый день воду по городу, сидя на обледеневшей бочке! Его лечили, послали на курорт в Крым. Вернулся поздоровевший, веселый. Помню, привез роскошный подарок — картонную коробку, обклеенную мелкими ракушками и крупным морским песком. Все военные годы она была главным украшением нашего комода, да и всей залы (так у нас называли большую — и обычно единственную — комнату дома). Когда уже легли спать (мы, ребята, на войлоке на полу, рядом с кроватью родителей), папа с увлечением рассказывал о Крыме, конечно, поразившем недавнего крестьянина, о фильме «Александр Невский», который он там смотрел. Врачи его обнадеживали, только категорически запретили возвращаться на прежнюю работу. Он с ними и с мамой не согласился: «Шибко вы все умные! А робетишек чем кормить будем?» (нас, «робетишек», было тогда трое, и на подходе была четвертая — сестренка Алка). Однако проработал папа на старой работе недолго. В

начале 40-го года болезнь резко обострилась. В местный, воткинский тубдиспансер папа лечь категорически отказался, боялся, что тогда его не пошлют опять в Крым. Путевку в Крым ему давали. Счастливый, собиравшись поехать. Помню, пальто новое примерял (сидело как на вешалке), а врачи уже знали, что он доживает последние дни. Помню подслушанный разговор врача с мамой: «Какой могучий организм! Чем он дышит?! У него же уже нет легких!» Держался по-крестьянски, без жалоб, мужественно, даже как бы чувствуя себя виноватым за то, что доставляет столько хлопот врачам и родным. Но как ему, 29-летнему, не хотелось умирать! Отчаявшись, хватался за «испытанные» народные средства против чахотки: пить медвежье сало, пить мочу (добросовестно пил нашу мочу). Ничто не помогало.

Чувствуя приближение конца, отец распорядился: не надо на моих похоронах никакого духового оркестра (полагавшегося ему бесплатно как рабочему завода), а эти деньги пусть передадут семье.

19 мая 40-го года он умер на руках отца — моего дедушки Акима Никитьевича, — хотя с утра чувствовал себя получше, даже поел и отослал нас с мамой по каким-то делам. «Что-то душно мне, тятя! Открой окно!» — попросил он дедушку, и это были его последние слова: когда дедушка вернулся к его постели, он уже кончался.

Мне шел тогда уже девятый год, но всей силы удара я не ощутил. Как мальчик из романа Андрея Платонова, я «за гробом отца шел без горя и пристойно». Боль и невозвратимость утраты ощутил позднее. С особой силой она кристаллизовалась в сне, который часто-часто мучил меня все школьные годы. Я видел папу, какого-то странного, будто он не умер или не совсем умер. Я верил и не верил и боялся во сне, что это только сон. Мой рассудок изнемогал в этом балансировании на грани сна и яви, жизни и смерти, но всё-таки была в этом мучительном балансировании какая-то надежда. Вместе со сном улетала и она, и я просыпался в слезах. Отцы моих товарищей вернутся с войны, мой папа — никогда...

Помню, как через год после смерти отца мама нам сказала: «Завтра к папке пойдем! Родительская суббота завтра». Пятилетний Герка запрыгал: «К папке, к папке пойдем!» — «Только не выйдет к тебе твой папонька, сыночек!» — сказала мама и заплакала.

На следующий день в каком-то радостно-грустном ожидании мы все пятеро пошли на старое воткинское кладбище. Расположено оно на

высоком холме, и далеко-далеко видно отсюда во все стороны. Весеннее солнце заливало всё вокруг, сияло на кресте каменной церкви. Много людей — нарядных, с грустно-просветленными лицами.

Когда мы подошли к папиной могиле, мама торопливо поставила на землю Алку, которую она большую часть пути несла на руках, и упала на холмик с осевшей, не совсем еще просохшей землей, запричитала: «Зино ты, Зино! И на кого же ты нас оставил? Как мне без тебя тяжело-то, свету белого не вижу! Почто ты меня не послушался-то, с той работы окаянной не ушел? Как я их, четверых, растить-то одна буду?!» И мама забилась на могиле, а мы, растерянные, стояли вокруг нее.

Тут к нам подошла старушка, с палочкой, вся в черном:

— Слышь-ко, бабонька, не надо эдак реветь-то. Шибко им там лежать-то тяжело, если родные-то ихние так убиваются. Встань-ко, встань, милая. И робетишек вон как напугала. Твои ли чо все? Ну, Христос с вами!

Старушка ушла, а мама с лицом, залитым слезами, обняла нас, успокоила хнычущую Алку и уже совсем другим голосом заговорила с папой, будто он был рядом и слышал ее:

— Прости, Зино, батюшко!.. И правда, шибко, поди, тебе тяжело от слез-то моих. Ну, на бабьи слезы вниманья особо не обращай: бабья слеза, как ночная роса. Ничо, и робетишка вырастут. Никто как Бог! Вон Алка уж ходит, Вовка второй класс кончат, отличник, Шурка осенью в школу пойдет. Ну, Герко — баловной, сам знашь. Сестры — Клавдя, Толя много помогают. Ваня вчера огород нам вспахал. Бросаю это я картошку в борозду, задумалася чо-то, поглядела на него и показалось мне, будто ты пашешь. Нет, уж никогда ты не попашешь, Зино, батюшко! Придавила тебя сыра земелюшка-а-а!

Тяжело пришлось маме в этот первый год после смерти отца (четверо детей мал мала меньше — от восьми лет до одного года). Помню такой эпизод. Мама обед готовит, на руках — Алка, да еще с ней случилась неприятность (большая). А тут еще кто-то из младших братьев свалился с лавки, ушибся, отчаянно орет. Мама в запальчивости кричит: «Хоть бы падали, дак башку-ту под себя делали!» Я говорю: «А я, мама, падаю, дак башку всегда под себя делаю!» И мама рассмеялась... «Подхалим, маменькин сынок!» —

скажете вы. Но если б вы знали, какую страшную сцену видел я за несколько дней до этого «забавного» эпизода!.. Я понимал, как маме трудно с нами, и хотел ее утешить.

Много помогали нам мамины сестры — тетя Толя, тетя Клаша, тетя Лёля (вечная им память!), их мужья. Утешали: «Ну, Сима, никто как Бог! Дальше полегче будет. Ребята расти будут, помогать». Никто не знал, что дальше будет — еще труднее...

ВОЙНА

Мама давно обещала нам купить какие-то бронзовые колокольчики, и когда мы, не очень уже рано, пошли в воскресенье 22 июня 1941 года в «Культтовары» в центре, мы узнали, что началась война.

Как же я обрадовался! Я всегда мечтал о боях, о героических подвигах, жалел, что слишком поздно родился и не бил белых, любимое мое чтение было — о войне. И наконец — вот она!

Слезы теток, провожающих моих дядьев на войну, очереди в магазинах, карточки на продукты, а главное — поражения на фронтах довольно быстро остудили мой воинственный пыл. Помню, жгучая крапива была нашим постоянным соседом и врагом. И вот я спрашиваю у сестры: «Любка, а ты согласилась бы голая, босиком, пробежать через поле крапивы, большое, ну вот как от нашего дома до вашего, — только война чтобы сразу кончилась?» И оба решили, что да, конечно, мы согласились бы даже на это.

Мы объясняли неудачи наших войск внезапностью вражеского нападения и надеялись на быструю победу. Ну, еще бы! Всё новые эшелоны солдат уходили из Воткинска (и ведь так по всей стране!). Да вот один дядя Ваня — такой силач, с десятью немцами справиться сможет! Но проходили недели, месяцы. От наших — ни одного письма, как в воду канули, а немцы всё шли вперед. Уже некого посылать. И вот уже только мальчишки — курсанты подольских военных училищ да 28 героев-панфиловцев преграждают немцам путь на Москву. А где же наши многомиллионные армии?!

И тут даже мы, ребяташки, оптимисты по натуре (точнее — по возрасту), приуныли. Знаю, что даже сдача Москвы не заставила бы нас (и взрослых тоже) пасть духом. Помню, как мой родственник,

деревенский школьный учитель, говорил: «Ничего, выдюжим! Вон Наполеон тоже взял Москву, а потом драпал из России давай Бог ноги!» Но пока — немцы неудержимо рвались к Москве.

Помню наш класс (третий). Холодно, греем руки под мышками, почти темно (занятия во вторую смену, а энергию экономят). Мы сидим притихшие, и учительница, Розалия Михайловна, говорит: «Ну-ка, Захарова, спой про барабанщика!» И Захарова детским, чистым и звонким голосом поет песню, которую все мы очень тогда любили: «Мы шли сквозь грохот канонады, / Мы смерти смотрели в лицо...» И на душе как-то легчает.

Конечно, немцы взяли бы Москву, если бы не свежие, прекрасно обученные и вооруженные дальневосточные и сибирские дивизии, которые можно было двинуть против немцев благодаря пассивности Японии — союзника Гитлера. Понимаю, что это было не благородство и не сочувствие к изнемогающей России. И всё-таки, всё-таки... Не следует забывать, что так ли, сяк ли, но в этот роковой для России час японцы не ударили нам в спину. А ведь именно японцев («самураев») все довоенные годы мы считали главным врагом.

После катастроф лета-осени 1941 года были еще наши поражения, но уж такого ощущения крайней тревоги не было у нас никогда.

С началом войны наш маленький город совершенно преобразился. По улицам с бодрыми песнями маршировали курсанты военного училища, во многих домах жили офицеры этого училища или эвакуированные, в окнах школ, ставших госпиталями, вместо косичек и красных пионерских галстуков — бледные лица выздоравливающих раненых.

Нет героических свершений на счету моего города. Не бомбили его, не обстреливали, но разве мало он дал для общей победы? Мужчины ушли на фронт (из семерых моих близких родственников вернулись с войны трое). Оставшиеся мужики вместе с женщинами и подростками работали на воткинском заводе. За годы войны завод изготовил 52 000 артиллерийских орудий (по одному на каждого жителя города!) Именно здесь выпускались противотанковые пушки, остановившие немецкие стальные армады. Город принял тысячи раненых. Помню, какие-то скромные подарки им дарили, концерты самодеятельности устраивали.

А когда осенью 41-го и осенью 42-го хлынули две волны эвакуированных из западных областей, то маленькие, тесные, но теплые деревянные воткинские домишки приютили тысячи бездомных. И основным чувством была не досада на тесноту и неудобства, а сочувствие к этим людям, потерявшим дом, и желание помочь им. Среди них было много евреев, но не помню ни одного проявления антисемитизма. Митя Крамер, Леня Чигринский, получив, как водится, прозвища (Митя Пряник, Чига-Рига), стали нашими товарищами и друзьями.

Помню, как мама и тетя Клаша жалели и подкармливали нашу с Любой подружку Веру Котырло. Ее поезд разбомбили немцы, и она, потрясенная всем увиденным, облысела, постоянно носила на голове темную (довольно уродливую) шапочку. (Уже после войны я получил из Киева письмо от Веры Котырло, к которому была приложена ее фотография. Трудно было узнать нашу Котырку в этой строгой привлекательной девушке с красивыми пышными волосами.)

Эвакуированные не были обузой. Даже в плане чисто бытовом, житейском они много нам дали. Картошка, картошка, картошка... Как она надоела! А эвакуированные учат делать *деруны* (из той же картошки, но — оладьи, и совсем другой вкус!) А *ряженка*, которую привезли к нам в 42-м!

Впрочем, от одного нововведения мы, ребята, были не в восторге. Раньше сгнившую картошку мы всегда выбрасывали, ее даже скотина не ест, а эвакуированные научили ее использовать, растерев на терке. Сверху образуется черная вонючая жижа, но внизу-то — белоснежный крахмал, для киселей. Замечательно! Но сколько «невинной детской крови» было пролито, когда мы терли эту гнилую картошку и нечаянно попадали пальцами на острые зубья терки!

Голодногато, холодногато было, но психологически — легко: вот враг, вот мы, и мы должны победить. Люди тянулись тогда друг к другу. Несмотря на занятость, каждую свободную минутку — вместе. Сколько школьных вечеров и утренников было! Водили хороводы вокруг новогодней елки, пели, читали стихи. Помню, не было школьного вечера, чтобы не декламировалась небольшая поэма Симонова «Сын артиллериста»: «Был у майора Деева товарищ — майор Петров...» (там артиллерист-корректировщик, окруженный немцами, вызывает на себя огонь отцовской батареи). Простой, четкий

ритм, задушевная интонация, а главное — романтическая героика этой поэмы нашли дорогу в детские наши души. Мы знали ее почти наизусть и повторяли: «Ничто нас в жизни не сможет вышибить из седла!» Сейчас бы такую веру... А ведь нам тогда было несравненно труднее!

ПИТАНИЕ, КАРТОЧКИ

Скажу несколько слов на вечно живую тему питания и снабжения.

Жили мы и до войны бедно. Мама любила повторять деревенскую прибаутку «Последний год бедно живём, на будущий год собирать пойдем» (*пойти собирать* в пермских говорах значит: «пойти по миру, нищенствовать»). До войны еда у нас была сытная, но очень простая и по преимуществу «деревенская»: много молочного, мучного, изредка — мясо. Строжайшая экономия, ничто не должно пропадать. Помню, папа по ошибке налил в макароны вместо подсолнечного масла — рыбий жир! Этой широко разрекламированной гадостью ребят пичкали тогда постоянно («Ну выпей ложечку, полезно, врачи говорят!»). А тут — на тебе! — еще и макароны на рыбьем жире! До сих пор помню их омерзительный вкус. А родители настаивают: «Не пропадать же добру! Да и шибко полезно!» Давясь, мы всё-таки проглотили несколько ложек этих макарон.

Вкусы у нас с братьями были разные. Гера нежно любил мясо (только редко оно ему перепадало), Шура мясо почти не ел, обожал картошку («У, картовная душа!» — говорила мама). Мое сердце на всю жизнь безраздельно отдано лапше, макаронам. Любимые «деликатесы» — тоже у всех разные. Гера любил известку («Опять печь ободрали! Это ты опять, Герко!» — сокрушалась мама). Шурка с аппетитом хрупал древесный уголь из углеморника (углеморник — металлический бак на ножках, куда ссыпали из печки красный, пышущий жаром уголь и «морили» (охлаждали) его). Ну а я, помню, бегал за редкими проезжающими машинами и жадно вдыхал выхлопные газы.

С продуктами в стране победившего социализма было неважно, даже до войны. Были распространены «заказы»: заказывали в централизованном порядке посылки из Москвы. Помню, получаем такую посылку: две банки рыбы в томате, халва, ридикюль (так

почему-то в провинциальном Воткинске называли женскую сумочку). Кажется, что-то еще было, не помню что, ерунда какая-то. Первый раз в жизни пробовали мы с братьями халву и рыбные консервы, изумлялись, как это рыбы кости могут быть мягкими и съедобными! Но главное — божественный вкус: если бы мы были царями, то, конечно, ели бы только халву и рыбу в томате! (Кажется, и то и другое мы после этого случая ели только через несколько лет, уже после войны.)

В войну продукты получали по карточкам. Категорий было четыре. Рабочие получали 800 грамм хлеба (на день), 800 г жиров (на месяц), 800 г сахара (на месяц). Служащие — 500, 500 и 500; дети (то есть каждый из нас) — 300, 300 и 300; иждивенцы (то есть мама) — 200, 200 и 200. Хлеба по современным меркам не так уж и мало, но ведь всё остальное надо было добывать самим! К тому же даже эти карточки нелегко было отovarить.

Какие были очереди! Делились они на два типа: «живая очередь», когда люди стояли, сцепившись друг с другом (чтобы никто не влез со стороны), и «очередь по записи», когда ставили номер (на руке чернильным карандашом или на спине мелом). Но сильные лезли, конечно, без очереди. Помню, как какие-то молодцы из хвоста очереди раскачали своего товарища и он пролетел над головами прямо к началу очереди, на головы стоящих там людей. Стоишь в очереди, стиснутый спинами и задами (я даже и для своих малых лет был маленький), дышать нечем, только бы не упасть — затопчут!

Давали еще соль, в достаточных количествах, но каменную, крупными, чуть ли не в кулак, кристаллами. Как нудно было тяжелым пестом долбить и долбить ее в ступке до пригодного в пищу состояния!

А галдящие рынки, покрытые, как асфальтом, толстым слоем скорлупы подсолнуховых семечек! Конечно, немало было здесь жульничества («Не обманешь — не продашь»), но такого всеобщего беспредела, как сейчас, не было на рынках даже в те годы. Я ничуть не удивляюсь сейчас, когда, приходя домой, обнаруживаю, что купленных фруктов — не килограмм, а всего 800 грамм, а то и меньше. В годы моего детства вешали на нормальных весах или безменах, нормальными гирями и — непременно «с походом», то есть пусть с небольшим, но перевесом. Видимо, это была традиция, идущая от

дореволюционной России, а может, и от библейских времен. Ведь еще в Притчах Соломоновых сказано: «Неверные весы — мерзость пред Господом, но правильный вес угоден Ему». Повесить бы этот девиз перед входом на наших рынках!..

Поскольку уж я попал на тему общественной потребморали, скажу, что государственное рассматривалось как общее, то есть ничье. Выкосить полянку в лесу или срубить там дерево не считалось грехом, но вот присвоить частную собственность считалось предосудительным. Помню, вся улица осуждала нашего соседа-украинца (Сашку-хохла) за проделки его детей. Когда мимо их дома проезжал воз с сеном, эти братья-разбойники, вооруженные граблями, выскакивали из подворотни и (думаю, не без ведома отца) «причесывали воз» — сдирали с задней его части охапки сена, потом аккуратно собирали их в кучу и оттаскивали на свой сеновал.

Крайне однообразна была наша пища. Завтрак, обед, ужин состояли обычно из одного блюда — похлебенка из картошки или из квашеной капусты с домашней лапшой. Похлебка — это что-то среднее между первым и вторым — густой суп или жидкое второе. Иногда была каша, картошка. А когда мама уходила куда-нибудь на несколько дней, мы питались почти исключительно тюрей — разбавленное водой молоко с крошенным в него хлебом.

Благодаря маминой сверхэнергии (и помощи бабушки) мы в войну не голодали, вставали из-за стола с тем «ощущением легкого голода», которое пропагандируется всеми руководствами по рациональному и здоровому питанию.

Но иногда нам выпадала радость, которой лишены сейчас люди, — радость от вкусной и главное — обильной еды (поймете ли? — обильной, досыта, «от пуза»!) По большим праздникам мама пекла пироги — с капустой, с ягодами, с рыбой, а то и с мясом. Гораздо чаще (но только по воскресеньям) пекли олашки (оладьи). «Завтра олашки пекчи будем!» — говорила мама накануне, и мы прыгаем, кричим, от восторга тузим друг друга. Потом приносим со двора дрова (извините за переключку с известной скороговоркой). Выбираем самые лучшие, самые ровные полешки. Мама укладывает их в печь (еще теплую после утренней топки), а сверху — свои и наши валенки, чтобы и дрова, и валенки просохли за ночь. А потом нам остается следить за всеми стадиями подготовки к приятному событию.

Вот мама с вечера замешивает тесто («Мама, только побольше делай!»), вот ставит квашню на ночь на теплую печь. А как приятно было проснуться под утро от постукивания мутовки в квашне (мама подмешивает муку) и вспомнить, что сегодня — олашки, и снова уснуть, пока мама не разбудит обычной шуткой: «Вставайте, козлы, подымайте хвосты! Вставайте, вставайте, толките молоко, счас олашки пекчи будем». И вот, надев нагретые в печи валенки (мы и дома в них ходили), поплескав в лицо холодной водой из рукомойника, выныриваю в сени, хватаю обжигающе холодную миску с замороженным кругом молока и ставлю ее в открытую печь, но не слишком близко к горящим поленьям. Это ответственное дело закреплено за мной: нужно, чтобы молоко не растаяло, а только чуть подтаяло с боков — ведь его нужно потом толочь в миске до получения белой похрустывающей кашицы.

И вот наконец мама печет, а мы хватаем эти с пылу с жару олашки, накладываем на них мороженное молоко (лед и пламя!). Спросите: почему не масло? У нас была корова, но масла мы до конца войны почти и не видали — слишком дорого, оно на продажу шло... Время от времени кричим: «А ты себе-то оставила, мама?», и она успокаивает: «Ешьте, ешьте на здоровье! Еще больше полквашни осталось!»

А как мы ждали ягод, свежих овощей! Картошку копали только в начале сентября, но на мой день рождения (3 августа) мы всегда лакомились молодой картошкой. Идем с мамой в огород, выбираем картофельный куст «повзрослее», сбоку забираемся руками под куст и шарим под землей в поисках картофелин покрупнее — осторожно, как минеры, стараясь не повредить мелкие картофелинки (пусть еще подрастут!) А перед тем, как лакомиться молодой картошкой (а также и любой другой «новинкой»), мама непременно повторяет старую присказку: «Новая новинка — на старую брюшинку! Мне бы сила, медведю бы кила».

ШКОЛА В ГОДЫ ВОЙНЫ

В школах, где я учился, большинство учителей не имели специального образования. Чаще всего учителей поставляла нам война, это были в основном комиссованные, раненые фронтовики.

Закаленные в боях войны иногда в классе и непечатным словцом не брезговали.

Несколько особняком стоял историк Иосиф Борисович Макаровский. Появился он у нас в 5-м классе, вел «Историю Древнего мира». Говорили, что раньше был он доцентом Московского университета, а потом за какие-то старые эсеровские грешки был сослан в Воткинск, на съедение нам. Дело в том, что он, прекрасный, эрудированный специалист, был плохим педагогом, и его «доводили» больше всех. Смешной какой-то, подслеповатый, он никак не мог найти подход к ученикам. «Ребята! Если вы не перестанете шуметь, я не дам вам понюхать настоящий бальзам из гробницы фараона». Эффект — обратный: шум, смех, а на перемене наши «испытанные остряки» подходили к другим ученикам: «Сударь! Не хотите ли понюхать бальзамчик из египетской пирамиды?» — и совали под нос что-то весьма неблагоприятное.

Только в старших классах мы оценили Иосифа Борисовича, полюбили историю, ходили в его кружок, участвовали, помню, в организованной им городской школьной конференции на тему «Великая французская революция». В начале лета 1948 года весь город собрался в клубе смотреть новый фильм «Сказание о земле сибирской». После сеанса Иосиф Борисович подошел ко мне, обнял за плечи: «Володя, из вас получится хороший историк, идите на исторический факультет». Меня это немножко удивило — ведь решать рано, впереди еще целый год, 10-й класс. Но осенью, в 10-м классе нас ждала уже другая учительница истории. Поговаривали, что Иосифу Борисовичу разрешалось только 5 лет жить на одном месте, и ему пришлось куда-то переехать... Окончив школу, я не последовал совету моего учителя: после некоторых колебаний поступил все-таки на филологическое отделение (и никогда об этом не жалел).

Но — продолжу тему о педагогическом таланте и психологии школьников. В том же 5-м классе была у нас математика, нечто скучное (разве сравнишь с «Историей Древнего мира!»), но вел ее (точнее — вела) опытный преподаватель — Наталья Гавриловна Матросова. Эту учительницу мы заполучили с большим трудом. В 5-м классе во втором полугодии мы оказались (не помню, почему) без учителя математики. Дирекция школы обратилась за помощью к соседней (женской) школе, но та отказалась помочь. И тогда мы,

ученики, услышав, что учительница там хорошая, пошли ее упрашивать. Она болела, но мы (я и еще два ученика) пришли к ней в больницу и упросили ее вести у нас уроки математики. И вот загадка: предмет нам казался скучным, преподаватель — зануда, а на уроках — идеальная тишина. Нет, преподаватель вообще-то очень хороший, заслуженно получивший звание заслуженного учителя республики, но... Я сам — педант (по мнению некоторых моих знакомых — зануда), но такого педанта, как эта учительница, я в жизни не видел. «Ребята, откройте тетради. Напишите: „Классная работа“. Возьмите линейку. Подчеркните написанное двумя чертами. В следующей строке напишите: „Пример 1“, подчеркните одной чертой» и т. д. (были еще и волосковые, и пунктирные, и волнистые линии).

Этот педантизм перерастал иногда в несправедливость — так я, во всяком случае, расценивал такой вот эпизод. Дают нам домашнее задание — в одну трубу в бассейн вода втекает, из другой вытекает... Этими бассейнами нас мучили и раньше, но в пятом классе задачи этого типа стали садистски сложными. Алгебраически, с применением X -ов и Y -ов, задачу можно было решить за пять минут, но нас тогда почему-то долго не выпускали из арифметики в алгебру, и я бился над задачей весь вечер, думал о ней ночью, а утром все-таки нашел решение. Кроме меня, ее решила еще одна ученица — Тутынина из соседней женской школы. Как вы думаете, заслужил я (и она, конечно) пятерку? А Наталья Гавриловна вызывает меня к доске, задает какой-то дополнительный вопрос, я от неожиданности замешкался (наверно, ждал, что она лавровый венок мне на чело водрузит), и она ставит мне четверку! Стоило ради этого ломать голову! Это была чуть ли не первая моя четверка за пять лет учебы в школе (если не считать пение и рисование, с которыми у меня были сложные отношения).

Но и это еще ничего. За правильное решение другой сложной задачи я получил у этой математички двойку! Я пошел сначала по неверному пути, но, быстро поняв это, остановился на полуслове (точнее, на полуформуле), заключил ошибочное начало в квадратные скобки и записал дальше правильное решение. И те, кто у меня списывал, и те, кто списывал у списавших, добросовестно скопировали всё, в том числе и заключенное в скобки ошибочное начало. Наталье Гавриловне не нужно было становиться Шерлоком Холмсом, чтобы учуять криминал и определить виновника. Все

получаем двойки, а меня к тому же вызывают к директору Зинаиде Ивановне: «Как мог ты, пионер, давать списывать?! Ваши отцы сражаются, а вы...» и т. д.

Такта нашим учителям тоже иногда не хватало. Отношения с товарищами у меня были нормальные, с некоторыми — дружеские, я был тихоня, и в чем в чем, а в зазнайстве упрекнуть меня никак уж нельзя было. Но неумеренные похвалы в мой адрес иногда настраивали класс против меня. Вот кто-то из учителей «ляпнул» на уроке: «Санников не только примерный ученик, но и мальчик нравственно чистый!» Естественно, долгое время товарищи обращались ко мне с учетом этой похвалы: «Эй, ты, насранный чисто!»

Но в наших учителях, даже и не очень-то эрудированных, было то, чего нет зачастую у современных дипломированных учителей, — они были *учителя*, а не чиновники по Министерству просвещения. Я не представляю, чтобы кто-то из них мог назвать учеников, класс — *гадюшником* (как случается в современных школах). А ведь мы были — не подарочек!

В войну школьников в Воткинске стало гораздо больше (за счет эвакуированных), а все большие школы (и нашу, имени Тельмана) отдали под госпитали или военные училища. Нас перевели в какие-то деревянные здания, где занятия шли в три смены. Особенно любили мы третью смену. Весь день свободный, а главное — свет часто в те годы отключали, и мы с торжествующими воплями, хрюканьем, лаем, мяуканьем устремлялись в раздевалку. При свете свечи, зажигаемой сторожихой тетей Паней, отыскивали на вешалках, а чаще — на полу свою одежонку и вываливали на улицу. Кстати, воровства, нередкого в современных школах, в те голодные годы в школе не было, хотя в городе это было явление обычное.

Помню случай, который тяжело переживала мама, да и я. Пошли мы как-то вечером с братом Шуркой в кино, встали в очередь за билетами. Маленький подвальный кассовый зальчик освещался только полоской света из окошечка кассы, и тут кто-то резко сдернул с меня шапку, кожаную, по тем временам очень хорошую. Найти вора мы, конечно, не могли, и я в сильный мороз, рыдая, побежал домой с непокрытой головой. На следующий день мне не в чем было идти в школу, и мама пошла на базар, купила мне суконную солдатскую ушанку.

Частенько, если свет в школе не отключали что-то уж слишком долго, мы переходили на самообслуживание. Кто-нибудь из ребят устраивал короткое замыкание, воткнув иглу в провода. Пока физик, комиссованный моряк Петр Ефимович отыскивал и исправлял повреждение, директор Зинаида Ивановна при свете свечи, поставив нас всех у доски, «промывала мозги»: «Ваши отцы сражаются, а вы что делаете?! Может, через несколько лет на фронт пойдете. Как же вы воевать-то будете? Имейте мужество сказать, кто это сделал!» Всё напрасно. Чего греха таить, был тут и страх — виновными были обычно великовозрастные приклатненные второгодники, но главное — глубоко укоренившееся представление, что указывать на товарища — нехорошо.

Еще чаще для срыва урока использовали карбид, который насыпали в большую бутылку с чернилами, стоявшую в углу класса. Чернила начинали пениться, вылезать из бутылки, выделяя едкий, вонючий газ. Приходилось выходить в коридор и долго проветривать комнату.

Помню, мы с Колькой Нельзиным умудрились опоздать в школу даже в третью смену — заблудились ... в его огороде! И огород-то не такой уж большой, соток, наверно, десять. Мы решили проветриться, пройтись по нему на лыжах перед выходом в школу. И вдруг налетел буран, такой, какого я не видел ни до того, ни за всю последующую жизнь. Как это у Блока? —

Разыгралась чтой-то вьюга.
Ой, вьюга, ой, вьюга!
Не видать совсем друг друга
За четыре за шага!

Какие четыре? — тут за два шага ничего не видно! Мы как-будто в сугроб с головой окунулись. Дом где-то рядом, а мы его найти не можем! Промокли, озябли. Взались за руки, чтобы не потеряться, и, руководствуясь сведениями о пургах и самумах, почерпнутыми из литературы, постарались идти прямо, не делая кругов. Скоро уткнулись (буквально уткнулись!) в забор и, утопая в снегу, дощечка по дощечке, побрели вдоль забора и вышли к дому.

Зимой по утрам мы жадно прислушивались: не будет ли «морозного гудка». Завод и весь город жили по заводскому гудку. По утрам он ревел три раза:

7 часов («Вставайте»), 7–30 («Выходите на работу»), 8 («Приступайте к работе»). Даже за небольшое опоздание на завод в годы войны судили. При морозе свыше 23 градусов в 7–20 давали дополнительный, «морозный» гудок («Школьники, сидите дома!»), и как же мы радовались этому гудку!

После войны заводской гудок сняли, и он куда-то пропал. Пытались как-то его воссоздать, да ничего не получилось, кроме сраму: вместо мощного рева, который был слышен даже за 15–20 километров от города, — жалкое шипенье.

В общении с одноклассниками особая церемонность была не в чести. К примеру, просьба к сидящим потесниться облекалась обычно в формулу, принесенную нашими приклатненными товарищами: «Раздайся, грязь! Говно плывет!»

В одного из этих приклатненных, Борьку Б., bruneta с голубыми глазами, были влюблены многие девочки нашего класса, даже моя сестра Любка. И не без способностей был парень. Я привык везде чувствовать себя первым, а вот на уроках математики, когда нужно было решить задачу не только правильно, но и быстро, Борька обычно меня опережал и первым сдавал свою тетрадь. Бедняга большую часть жизни провел, говорят, в местах не столь отдаленных...

Выделяться из среды я никак уж не хотел. Только вот материться — долго не матерился. Как-то язык не поворачивался, да и книги мои любимые это не поощряли. Товарищи быстро заметили этот мой недостаток и пытались помочь мне от него избавиться — щипали меня, руки выкручивали: «Скажи: ...!» Ну, тут уж выиграла моя староверская гордость, сопротивление насилию: «Хоть режьте, не скажу!» Потом, через несколько лет, когда на меня уж рукой махнули, я ругался не хуже моих товарищей, но пришел к этому добровольно, осознав, что это — наиболее адекватная реакция на некоторые ситуации, и притом наиболее понятная для окружающих.

Но вот ругаться при девочках — не только я, все мы — считали всегда позором. Помню забавный, почти анекдотический случай (в студенческие уже годы). Входит в нашу комнату в общежитии мой товарищ Сашка Л. С порога кричит: «Ну, ребята! Что было-то! Ну, ё...

твою мать!» Заметив наши страшные глаза, оглядывается, видит в комнате девушку, растерянно лепечет: «Ну, ё... твою мать!» И совсем уж уничтоженный сознанием двойной оплошности, хватается за голову: «Ну, ё... твою мать!» И выбегает из комнаты.

Школьные наши шалости обычно — самые примитивные, мало отличающиеся, например, от тех, которые описывал в прошлом веке Помяловский в своих «Очерках бурсы», а иногда совпадающие с ними, даже и по названию.

Как и бурсаки середины XIX века, мы смачно делали друг другу *оттяг* (резкий, с оттяжкой, удар по заднице — по касательной, сверху вниз средними костяшками пальцев) или *смазь*. Ну, *смазь* — дело тонкое, она разных видов бывает: бывает *обычная*, когда забирается в горсть рот и нижняя челюсть товарища и сжимается, пока он не заорет, бывает *вселенская* (наши славные предшественники — бурсаки называли ее *всеобщей*), когда забирается в горсть и сжимается всё лицо объекта товарищеской шутки. И всё-таки жестокости на уровне садизма у нас не было. Смягчились ли за сто лет нравы или Помяловский, описывая нравы бурсы, несколько сгущал краски? Думаю, и то и другое.

Запомнилось несколько забавных сценок. Вот учитель идет по коридору в класс. Перед ним бежит припозднившийся ученик, распахивает дверь класса, и вдруг — взбрыкивает ногами и картинно, не касаясь ногами грешной земли, всплывает в класс (разгадка: вплотную к двери поставлен учительский стол, и вбегающий неожиданно для себя плюхается на него, и его ввозят в класс). Поскольку стол использовался тут как средство передвижения, его ножки, естественно, были обуты в галоши (дело было осенью). Дальше — скучное и обычное продолжение. «Кто это сделал?» Молчание. «Чьи галоши?» Я признаюсь, что левая передняя и правая задняя — мои. «Значит, ты это сделал?» — «Нет». — «А кто?» — «Не знаю»... и т. д.

Или: учитель входит в класс и видит: на крюке массивного железного штатива для школьных пособий подвешен за ремень брюк ученик — Вадька Логинов, тихий, безобидный парнишка, которому почему-то было присвоено у нас громкое библейское имя — *Каин*. Дальше — снятие с крюка и допрос висельника-Каина: «Кто это сделал?» — «Не знаю, не заметил». — «Ты не заметил, как тебя

вешали?! Понимаю, понимаю: ты о чем-то замечтался, наверно, о будущих миллионах (распространенная в военные годы шутка)».

Труднее было реагировать учителям на выходки наших «артистов», в первую очередь Юрки Вознюка. Его у нас, естественно, звали *Возня*. Когда кто-нибудь из учителей возмущался: «Опять возня в классе!», все оборачивались к Вознюку и орало: «Вознюк, выйди из класса!» Помню, этот Вознюк, натура художественная, говорит нам (кажется, это было уже в седьмом классе): «Хотите, я при учителях выругаюсь, и ничего мне не будет?» На следующий день — школьное собрание. Выступают учителя, учат нас уму-разуму. Далее — традиционный вопрос: «Ну, кто из учеников выступит?» и традиционный ответ — гробовое молчание. И тут выходит Вознюк. «Вот мы, ребята, отмалчиваемся, а ведь Александра Ивановна и Елизавета Васильевна правильно говорили. Ведь мы-то знаем, как мы к занятиям относимся, да и друг к другу. Что уж скрывать? Вот после уроков двое или трое сговариваются: „Давайте Петьку отмудохаем!“ (надеюсь, учителя извинят меня за грубое, но привычное для нас слово). И отмудохают — до синяков, до крови! Это что — товарищество? Это что — пионеры?!» — кипятится Юрка.

Но при всём том, сравнивая свое школьное детство с детством моих детей, я замечаю, насколько углубилась сейчас духовная разъединенность учителей и учеников (да, пожалуй, и самих учеников между собой). Для нас школа была, конечно же, обузой, но какой-то родной, близкой и понятной обузой. В тяжелые военные годы сколько кружков (добровольно, бескорыстно!) вели наши учителя!

Книг было мало, и поэтому особенно приятны были чтения вслух в нашей библиотеке, в литературном кружке. Помню, свет гаснет, но Ирина Борисовна зажигает керосиновую лампу, и еще уютнее слушать «Собаку Баскервилей» или жуткий рассказ о злодее-ученом, который научился оживлять и натравливать на людей египетскую мумию, — а потом с чувством сладкого ужаса возвращаться домой по темным, заваленным сугробами улицам. Читала Ирина Борисовна и серьезные вещи, например, «Гамлета», но они, честно говоря, не произвели на нас особого впечатления.

КАНИКУЛЫ

Как мы ждали каникул! (Впрочем, был ли в истории человечества хоть один ученик, который с нетерпением не ждал бы каникул?)

Перед каникулами на перемене писали на доске мелом известное школьное стихотворение:

Последний день, учиться лень.
Мы просим вас, учителей,
Не мучить маленьких детей.

Они и не мучили, и двойки никому не ставили. Классный руководитель писал на доске план мероприятий на каникулы, а мы переписывали его в тетради. Теперь дети проводят каникулы дома или с друзьями, в надоевшую школу и не показываются, а у меня, помню, в каникулы почти каждый день был занят: то елка в нашей школе, то утренник, то лыжная прогулка, то экскурсия в Музей Чайковского, то в городском клубе спектакль кукольного театра, который приезжал из Ижевска. Показывали из года в год один спектакль — «По щучьему велению». Я его раз десять, наверно, видел. Спектакль хорошо поставлен, но до чего же он вредный (как и сказка, по которой он сделан)! «По щучьему велению, по твоему хотению» всё само собой делается — лес рубится, сани идут без лошади, палаты боярские возводятся. Пальцем не пошевелив, лежа на печи, во дворец царский прибывать изволишь. Думаю, у европейских народов нет таких сказок...

А как старательно, душевно и мы, и учителя, готовились в трудные военные и послевоенные годы к школьным вечерам! Литераторы и историки брали на себя художественную самодеятельность (немудрящую — но разве это так уж важно?). Илья Семенович Винник, до войны чемпион Украины по боксу (в своем весе), с деформированной левой рукой (результат фронтового ранения), учил ребят боксу и организовывал на школьных вечерах показательные бои (рассказывали: шел он вечером с учениками, а на них — двое здоровенных детин. Илья Семенович, в сущности однорукий, быстренько уложил их в снег. Красиво сказал, указывая на поверженных: «Вот этот сейчас очухается, это, ребята, называется нокаун. А этот еще полежит, это — нокаут»). После этого в секцию

бокса отбою не было). Даже чертежник (тоже инвалид войны) нашел свое место — украшал стены зала лучшими из орнаментов, которые мы чертили тушью на его уроках.

Даже драматический кружок в школе работал. Никакого театра в городе не было, но каким-то ветром занесло к нам, в городской клуб, артистку (не помню ее имени). Она увлеченно готовила с нами «Белеет парус одинокий» по Катаеву, сцены из «Ревизора», «Полтавы», «Бориса Годунова». Марину Мнишек решила было сыграть сама, что нас изумило: такая-то старушенция (ей было, наверно, все тридцать!) — Марина Мнишек?! В конце концов выбор пал на девочку из соседней женской школы. В Юрке Вознюке, нашем «артисте» (я о нем уже писал), она безошибочно разглядела Хлестакова и Гришку Отрепьева. А вот со мной у нее получилась осечка. В «Борисе Годунове», в сцене в корчме мне была дана интересная роль маленького верткого выпивохи — чернеца отца Мисаила. Но... Щепкина из меня не получилось, и после первой же репетиции я был разжалован из отцов Мисаилов в «пристава» (да еще и «другого!»). У меня были две реплики по пять-шесть слов, но я аккуратно присутствовал от начала до конца на всех репетициях. Мне приятна была сама «пыль кулис» (репетировали в городском клубе, обычно почему-то на громадном чердаке, где были сложены декорации, клубное оборудование, и чего-чего, а пыли было предостаточно). На спектакле я был на высоте: за неимением слов усердно тряс бородищей и стучал по полу алебардой. А Мисаил был просто великолепен, но — нет худа без добра и добра без худа: второй чернец — разгульный шумный богатырь отец Варлаам — вдруг переключился на вкрадчивую манеру маленького Мисаила и завалил роль, к неопишуемому огорчению нашей руководительницы.

Руководительница наша все-таки не поставила на мне крест. Уж очень хотелось ей использовать мою преданность театру и мои «богатые» внешние данные: маленький рост, большой нос, тоненький голос. Если не монах, так, может, шпион? И вот я — агент царской охранки, шпик по прозвищу Усатый в инсценировке по роману Валентина Катаева «Белеет парус одинокий». И снова — осечка! И снова я разжалован — на этот раз из шпииков в пламенного революционера Илью Борисовича, члена подпольного комитета (одна реплика на 9 слов, считая предлоги и союзы).

И на том моя артистическая карьера закончилась...

Елочных базаров и в войну и после войны в Воткинске и в помине не было. Но какой же Новый год без елки? Помню, мы с сестрой Любкой поздно вечером встаем на лыжи, идем в лес. «Сквозь волнистые туманы пробирается луна...», и мы пробираемся среди елочек, выбираем самую-самую красивую и относим ее домой. «Настоящих» игрушек, сохранившихся от довоенных времен, — всего несколько, и мы клеим из бумаги игрушки, гирлянды, раскрашиваем их. Потом каждый день я, как на работу, с утра прихожу к Любке. Мы с ее подругами пляшем вокруг елки, поем, играем в разные игры.

Вспоминается любимая наша игра военных времен — в базар. Скучную выделенную нам снедь — хлеб, овощи, что-то еще — делим на малюсенькие кусочки, распределяем роли: вы — продавцы, мы — покупатели. И открывается базар. Всё по-настоящему — оживленная торговля, перебранка: «Ты что недовешиваешь?» — «Да ты чо?! Разуй глаза-то! Я тебе с большим походом (перевесом) взвесил!» Ну а денег расплачиваться много, «куры не клюют» — новенькие, хрустящие «николаевские» и «керенки» из нашегоклада (я о нем уже писал).

Колядки в наших краях неизвестны, а вот гадания, переодевания — случались. Помню, в зимние каникулы (в 7-м классе?) я оделся нищим, нахлобучил рваную шапку и отправился собирать милостыню в дома знакомых и родных. Иногда и прогоняли меня: «Иди, Бог подаст! Самим есть нечего!» А сердобольные мои тетки жалели *нищенка* и что-то ему давали. Удивительно, разоблачили меня не сразу, только сметливые мои двоюродные сестры Тайка и Нюрка. Когда я зашел к ним, они с матерью, тетей Толей, усадили меня, дали кусок горячей шаньги, спрашивали, кто я и откуда. Я вошел в роль, со слезой в голосе излагал свою заранее заготовленную «легенду»: отец на фронте, мать умерла; живу у тетки; тетка-то добрая, а вот мужик ейный — злющий, гонит меня милостыню собирать и, если мало принесу, ругает, а то и бьет. «Ну-ка, Нюрка, дай ему ишо хоть кусок хлеба!» — пожалела меня тетя Толя, но когда я протянул руку за хлебом, наблюдательная Нюрка заметила: «Мама, а руки-то у него что-то какие белые!» (Вот так шпионы проваливаются из-за пустяковых просчетов: старательно измазав углями и сажей лицо, я забыл про руки!) Ко мне пригляделись повнимательнее: «Ой, да это же Вовка!»

ШКОЛЬНЫЕ БУДНИ

Торжественно и нарядно выглядела школа не только в праздники, но и во время экзаменов. Наши классы, обычно не очень-то уютные и чистые, с потолками, увешанными, как сталактитами, бумажными чёртиками, совершенно преображались. По стенам развешивались карты и наглядные пособия, на полу — пусть скромные, коврики, но главное украшение — цветы в горшках, которые учителя приносили из дому, много цветов. И мы невольно проникались важностью момента.

А родительские собрания! Шла война, но полуголодные, замученные наши учителя (и уроки надо провести, и задания домашние проверить, и о своих детях позаботиться, и в очередях постоять, и на огороде покопаться) не спеша говорили с родителями, прикидывали, как бы подобрать ключик к каждому ученику. И родители, даже те, которые не очень-то интересовались науками, начинали понимать серьезность «этого дела» и пытались (словом ли, ремнём ли) донести это понимание до своих чадушек.

До поздней ночи я ждал возвращения мамы с родительского собрания и выспрашивал все детали. Осуждайте меня (и мою мать) за тщеславие и т. д., но — таких тяжелых жизненных условий, как у меня, не было даже в те военные годы ни у одного из моих соучеников.

Когда у нас об ученике говорили *способный*, то обычно имели в виду хорошую память. В этом смысле способным меня считать было нельзя — всю жизнь память меня подводила. Но было другое — усидчивость, крестьянская привычка делать любое дело добросовестно и преклонение перед тем миром науки, который приоткрывался за сухими строками учебников. В общении со сверстниками, в играх, я охотно уступал первенство другим, но на уроке я привык чувствовать себя первым. Не скрою, мне приятно было доказать это какому-нибудь новому учителю, который попервоначалу, знакомясь с классом, равнодушно скользил взглядом мимо меня («Ну, это — серенький деревенский мальчик...») А потом удивленно поднимал глаза, слушая мой ответ.

Важно тут и другое. Довольно скоро пришло ко мне неприятное чувство, что мои родные и сам я в чем-то (в манере поведения, в разговоре) хуже коренных горожан-воткинцев. Помню разговор соседки с мамой о моем брате Гере: «Что это вы, Ефросинья

Николаевна, так некрасиво сына зовете, как собаку: „Герко! Герко!“» Я думал, что мама возразит, а она, обычно такая уверенная, обиженно поджала губы: «Ну, чо с нас взять? В лесу родились, пеньку молились. Чурки с глазами». Помню, ребята смеялись надо мной, когда я говорил: *чо, одёжа, лыва* (вместо *лужа*), *в школу-ту* (вместо *в школу-то*). Были на этой почве и недоразумения (коммуникативные неудачи, как говорят лингвисты). Помню, в 44-м мама впервые разрешила мне пригласить на мой день рождения (тринадцать лет) нескольких товарищей. Я приглашаю друга, Колю Нельзина, а он отвечает: «Большое спасибо!» У нас *спасибо* говорили только, благодаря за угощение или за подарок. А в ситуации приглашения в гости говорили: «Ладно, приду!», и *спасибо* в этом случае означало отказ, нечто типа «Нет уж, спасибо!» Я к Кольке: «А почему не придешь?» — «Нет, почему не приду?! Приду, спасибо. Чудак ты, право!»

Понимаю сейчас, что в моем стремлении быть первым учеником был и элемент протеста, желание доказать, что «чурки с глазами» тоже чего-то стоят. Конечно, и это чувство малопохвально, но — из песни слова не выкинешь... «Прикрепляли» меня к отстающим ученикам, но толку от этих занятий было, честно говоря, немного: попадая в непривычную для меня «роскошную» обстановку квартиры одного из руководителей завода или члена горсовета, я увлекался замечательными (заводными!) игрушками, шахматами, пневматическими пистолетами, прочими чудесами и забывал о своем пионерском долге.

Мама горячо поддерживала мою страсть к учению.

Ей, истерзанной непосильной работой, было лестно, когда жена то одного, то другого из самых видных в городе людей спрашивала: «Ефросинья Николаевна, ну поделитесь, пожалуйста, вашим педагогическим секретом!», и мама, полуграмотная деревенская женщина, скромно отвечала: «Да как-то само так получатся!» Получалось, однако, не само... Учиться мне было — трудно. Требования достаточно высокие (а иначе как бы я и мои товарищи поступили потом в вузы, и довольно престижные?). Учебников мало, тетради делали иногда из газет. Помню, как я на летних каникулах переписывал учебники в тетради, сшитые из светокопий заводских чертежей. А в 44-м мне как отличнику преподнесли на школьном собрании роскошный подарок — пять тоненьких тетрадок, пять

некрашенных, военного времени карандашей и открытку «И. В. Сталин выступает перед нефтяниками Баку».

Но главные трудности, конечно, не в недостатке учебников и тетрадей: кроме приготовления уроков была уйма хозяйственных дел. Благодаря маминей и нашей энергии в годы войны в нашей большой семье с едой и одеждой было даже лучше, чем у многих моих одноклассников. Но... но... Достигалось это крайним напряжением всех сил, и, по чистой совести, я не колеблясь поменялся бы в этом отношении с моими товарищами, чтобы не работать до изнеможения и иметь время для игр, рыбалки и, самое главное, для чтения. Признаюсь, я иногда шел здесь на небольшие уловки. Если была уж очень интересная книжка, я с вечера прятал ее под подушку, а утром, укрывшись с головой, читал ее под одеялом, сделав щелку, малюсенькую, чтобы только можно было разобрать буквы. А мама думала, что я сплю, и ей жалко было будить меня и нагружать домашними делами.

«ТРУДЫ И ДНИ»

Не было ни водопровода, ни отопления, ни газа, ни канализации, все удобства — на дворе, на свежем воздухе (эта «свежесть» достигала нередко 30–40 градусов ниже нуля). Сейчас «великие» рукотворные моря сильно изменили климат и в Воткинске. А в годы моего детства где-то в конце октября выпадал снег, наступала зима, сухая, безветренная, — и без «глупостей» вроде грибного дождика под Новый год или в Крещение. Нередки были морозцы, морозы, а то и морозищи, о чьих проказах так сочно писал Некрасов:

Без мелу всю выбелю рожу,
И нос запыляет огнем,
А бороду так приморожу
К вожжам — хоть руби топором!

Нужно почистить Зорькину стайку, отоварить продовольственные карточки, напилить и наколоть дров, сделать разные мелкие домашние дела (прибрать в доме, помочь готовить еду) и т. д. и т. п. А еще —

отводить братьев и сестру в ясли или в детсад и забирать их оттуда. Братья, Шура и Гера, капризничают, не хотят идти, рассыпаются в разные стороны, как два шарика: поймаешь одного — убежал другой.

С сестренкой Алкой легче, особенно зимой: посадишь в санки, укутаешь одеялом — и бегом в ясли-сад. Летом хуже. Возил я ее в корзине на тачке. Дорога неровная, помню, как один раз вывалилась Алка на камни. Лицо в крови, смотрит на меня испуганными глазенками и даже не плачет. И так это меня умилило (подумал: «Понимает, что я не нарочно!»), что я сам заревел. Теперь-то понимаю, что она просто в шоке была.

А стирка белья? Стирала мама дома, но полоскать белье мы с ней непременно шли на пруд (километра полтора-два от дома), таща большую плетенку белья — летом на тачке, зимой на санках. Мне-то зимой легче и приятнее: я на коньках подталкиваю сзади тяжелые санки, а потом катаюсь на коньках по пруду. А маме трудно: полощет белье в проруби и отбивает его на льду тяжелым деревянным вальком, время от времени дуя на окоченевшие руки и грея их между коленями. А потом усталые, замерзшие, возвращались домой и развешивали белье на чердаке — обычно уже в сумерки. Но зато каким же оно было душистым, это белье!

Вот огребаться (снег расчищать) мы любили. «Ой, ребята, снегу навалило — из дому не выйдешь!» — будила на рассвете мама. Вставать ни свет, ни заря не очень-то хотелось, но на морозце сонная одурь быстро проходила, и мы бойко раскидывали пушистый свежий снежок, расчищали дорожки — к сараю, к воротам и от ворот — к проезжей части улицы.

Но это только начало: основное огребание — потом, после школы. Нужно очистить от снега весь двор. На этом мама не настаивала, это уж роскошь, но чистый гладкий двор нужен был нам самим, для игры. Выносить снег со двора при наших-то снегопадах — дело нереальное, мы его сгребали в стороны, к стенам, потом эти высоченные сугробы подрезали, аккуратно подравнивали лопатами и «для красоты-басы» втыкали в них маленькие елочки. Всё, хоккейное поле готово, можно играть. (Клюшки — обычные, чуть загнутые внизу палки, а с ролью шайбы отлично справлялись мерзлые конские катыши.)

Весной — экзамены в школе, и в это же время другие важные экзамены — посадка в огороде и на полях. В войну лопата

окончательно вытеснила все сохи-плуги-трактора. Не меньше десяти соток (иногда и твердый дерн) мы вскапывали лопатами, потом боронили граблями и засаживали (в основном картошкой). Тяжело, конечно, но я любил это время. Весна, впереди каникулы, впереди лето, мы выставляем зимние рамы, распахиваем окна, и в наш дом, целых полгода (даже больше!) плотно закупоренный, врывается весенний воздух. А вскоре — «переселение народов»: в доме остаются только женщины (мама и сестра Алла), а «мужики» ночуют кто где. То на сарае, на душистом сене, слушая, как внизу «пышкает» корова и гоношатся куры, то на террасе (уютно, светло, на полу — половичок, на стене — коврик, в окне — луна), то в чулане (таинственная, даже жутковатая темнота — хоть глаз выколи, а утром — проникающие сквозь щели золотые столбы света с пляшущими в них пылинками.)

Летом забот тоже немало. Полоть грядки в огороде, поливать, окучивать картошку в огороде и на полях. Но эта работа нас не пугала. Другое дело — рубка дров в лесу. Для меня это была самая тяжелая и ненавистная работа. Вот мы с мамой ходим по лесу, выискивая сухары (сухие деревья). Не всякая сухара идет в дело. Некоторые и хороши, да наклон не туда, куда надо: упадет на другие деревья — и застрянет, пиши пропало. Найдя подходящее дерево, мы его подрубаем, намечая ему маршрут — направление падения, а потом пилили с другой стороны, навстречу этому подрубу. И вот это — самое тяжелое. Лицо и руки облепили комары и слепни, ноги кусают муравьи, руки устали, из последних сил дергаешь с мамой двуручную пилу, низко, параллельно земле. И думаешь: «Нет, не буду просить маму передохнуть! Я мужчина! Ведь терпели же Овод, Павка Корчагин!» И в последнюю минуту, когда нет уже сил терпеть, мама говорит: «Ну, отдохнём!» И так много раз. А на сваленном дереве нужно обрубить сучья (это уже легче!), распилить его на куски — подовинники. Единица длины — топор: подовинник — это четыре топора (примерно метр-полтора). Теперь их надо уложить в штабель. Комли (тяжелые подовинники от корня) мама таскала сама или мы их катили, мне давала полегче — вершинки, но и с вершинкой я (10–12-летний) шел, шатаюсь из стороны в сторону. А эти дрова нужно еще как-то доставить домой, пилить, а потом колоть и складывать в поленницу. Кололи дрова мы уже с братьями, без мамы, и с азартом демонстрировали друг другу меткость и силу. Но с сучковатыми деревьями, особенно с березой,

возни было, конечно, немало. Дрова мы заготавливали всегда сами, а их нужно много: зимой каждый день топили русскую печь, а еще — раз, а в мороз два-три раза — топили «голландку» (небольшую «пристройку» к печи).

Поскольку уж заговорил о печи, скажу, что, экономя дрова, опасаясь, чтобы тепло не вылетало в трубу, мама и другие мои родственники нередко закрывали задвижку печи раньше времени, и мы часто угорали: рвота, страшная головная боль (форточек в деревянных домах не было: единственная вентиляция — через входную дверь). Бывало и хуже: трое из моих родственников умерли от угара в доме или в бане, в том числе и тетя Толя (Евстолия), моя крестная мать. Один раз меня рвало от угара совсем уж в неподходящее время и в неподходящем месте — в церкви, где я как крестный отец крестил ребенка. А был еще случай, когда меня спасло только «чувство долга». Сильно угорев и чувствуя страшную головную боль, я лег на кровать, но, засыпая (умирая?), вспомнил, что нужно отоварить хлебные карточки. Встал, добрёл до Воробьёвки, ближайшего магазина (точнее — до хвоста очереди в магазин), упал в снег и потерял сознание. А в последний мой приезд на родину, вот уже в 2000 году, брат Гера напомнил мне случай, когда я вывел их, маленьких, из угарной избы, и мы на морозе очухались от угара.

Даже скучное дело мы с братьями старались превратить в игру. Вот в жаркий летний день (сейчас бы на пруду купаться, рыбку ловить!) идем за город окучивать картошку. При виде участка (для нас довольно большого — сотки 4, и сорняков немало, да и земля — не пух) у нас вытягиваются лица. Стараюсь братцев (да и себя) ободрить, наполеоновским жестом указываю на бесконечные ряды картофельных кустов: «Это — вражеское войско! Их тысячи, а нас всего трое. Они думают, что мы и подступиться к ним не посмеем! Сделаем так. Разделим вражеское войско на две части, а потом разгромим их поодиночке!» С тяпками наперевес врубаемся в середину участка, а потом запыленные, потные, добиваем разобщенные части вражеского войска. Победа! Вы сомневаетесь в качестве такой работы? Не сомневайтесь, нормальное качество. Конечно, подхалтурить можно было бы — мама этот участок до осени, до самой уборки не увидит. Да только вот, если картошечка не уродится, что зимой-то лопать будем?

Запомнился и другой случай. Вот мама всплескивает руками: «Ой-хой-хой! Робетишка, ведь мы с вами — лес-от вчера рубили — топор Афонин в лесу оставили! Чо делать, чо делать? Ну-ко бегите завтра и чтобы без топора домой не являться!» Мы было приуныли: у нас были совсем другие планы на воскресенье. Но делать нечего, идем на место порубки. Это километрах в шести-семи от города, и я бы ни в жизнь это место в лесу не нашел, но брат мой Шурка удивительно хорошо ориентировался, и мы нашли эту порубку. Хорошо помню эту нашу вынужденную прогулку. Нежаркий летний день. Мы бежим (босиком) то по песчаной дороге, то по лесу, под соснами, играем в войну (благо боеприпасов — шишек, грибов — хватает). Как сейчас вижу: брошенный мной гриб попадает прямо в лоб Шурке, и тот дурашливо открывает и закрывает рот, делая вид, что он ошеломлен попаданием.

Придя на место порубки, мы слегка подрастерялись: искать топор в лесу среди пней, бурелома, срубленных сучьев, завалов, перепутанной травы — то же, что искать иголку в стогу сена. Но тут уж нас выручает другой «специалист» — младший брат Гера, самый из нас бойкий и глазастый. Довольно быстро он находит топор.

Отступление. По злой иронии судьбы глазастому Гере всю жизнь не везло именно с глазами. В раннем детстве он особенно страдал от поразившей всех нас болезни глаз. Глаза слезились, гноились, к утру гной застывал, и я помню, как Гера не мог открыть слепленные веки и отчаянно ревел, — как диккенсовский мальчишка, чья голова застряла в чугушке, и он орал, ужасаясь перспективе провести в полном мраке остаток жизни. Другой случай. Как-то зимой мы играли во дворе в хоккей, и я палкой (которые заменяли нам клюшки) ударил Геру в бровь. Помню мой ужас: Гера, как подкошенный, упал на снег, и глазница мгновенно наполнилась кровью. Тогда-то всё обошлось. Но дальше — страшнее. В пятнадцать лет, в драке, соседский мальчишка ржавым гвоздем выколол брату глаз (я об этом уже говорил). Позднее оставшийся глаз не выдержал двойной нагрузки, и брат — не без помощи местного, воткинского эскулапа — полностью ослеп.

Но — вернемся на 50 лет назад, в счастливое время, когда мы, довольные успехом, потрясая найденным топором, решаем отдохнуть перед обратной дорогой и вкушать заслуженную пищу. Ее, впрочем, надо еще собрать. Расходимся по поляне и собираем землянику. Честно, не съев ни одной ягоды, набираем пригоршни ягод, высыпаем

их на большой пень, делим на три равные кучки. Я достаю из-за пазухи хлеб в тряпице, который мне дала мама, и мы закусываем.

Обратный путь, конечно, потяжелее, но вот мы и дома. Мама счастлива: «Вот молодцы, дак молодцы! А я ведь, по правде сказать, не шибко-то надеялася, что найдете топор-от. Ну, садитесь ись, а потом, ладно уж, идите на пруд, искупайтесь». И добавляет обычную шутку: «Только, если утонете, домой ни ногой!»

Очень тяжело приходилось в начале осени. С 1 сентября начинаются занятия в школе, а тут как раз — уборка урожая. Ну, огород под боком, хоть в непогодь, да уберем. А картошка в полях? Картошки наша семья накапывала много. Ведь нам самим — надо? Корове Зорьке — надо? Немного на продажу — надо? Выходило в среднем 200 пудов (это почти 400 ведер). Ее выкопать надо, иногда в плохую погоду, иногда и «под белыми мухами» (первый снежок), дую на окоченевшие руки. А потом отвезти в город, к дому (самим, на тяжелых тачках, которые из рук вырываются), и не по асфальту — по ухабам и, хуже того, по песку. А потом высушить, перебрать (на крупную, мелкую, гнилую) и поместить в погреб.

Из множества других «уборочных» работ и хлопот запомнились, естественно, те, где было что-то необычное или смешное. Вот копаем мы турнепс за городом (на корм корове). Очень устали. Везем на тачках тяжелые мешки с турнепсом. Иногда отдыхаем, мечтаем, как придем домой, а в печке — суп, настоящий, с мясом! Наконец доплелись до дому. Стали убирать мешки с осточертевшим турнепсом, а Шурке поручили накрывать на стол и доставать из русской печки суп. Он неловко ковырнул по чугунку ухватом (может, руки тряслись от усталости), и драгоценный суп разлился по поду печи, покрытому золой! Мама так была потрясена, что просто не могла найти слов, чтобы обругать Шурку (хотя обычно за словом, в том числе и довольно крепким, в карман не лезла). «Турнепс ты!» — крикнула она в запальчивости. И это так рассмешило и ее, и нас, что наше голодное озлобление пошло на убыль.

Кроме прочих дел массу времени и сил круглый год отнимали забота о корове Зорьке и особенно заготовка сена.

ЗОРЬКА

Нашей главной мучительницей, но и кормилицей-поилицей была корова Зорька. Привела ее мама в декабре 1941-го из далекой закамской деревни (в городе коровы стоили баснословные деньги). Перед уходом в деревню мама долго мыла, стирала, наказывала мне (я, десятилетний, впервые оставался за старшего), чем кормить ребятишек в эти дни, как отоварить карточки, как на санках отвезти сестру Алку в детсад и забирать ее, а потом, когда мы легли спать, достала из сундука папины вещи, рассматривала их и прикидывала, сколько за них дадут в деревне и хватит ли этого, чтобы купить корову. Плакала, тихонько разговаривала с папой (умершим полтора года назад): «Ой, Зино, батюшко! Шибко мне не хотелось одёжу-ту твою продавать. Бывало, хоть кустом твой поглажу, ровно тебя поглажу. Да чо сделать? Сам понимать — война, ребят кормить-поить надо. Не проживем мы без коровы! Прости, батюшко! Хоть рубаху твою оставлю. Как ты ее любил, в гости всё надевал...» И вспомнив жизнь с папой, которая теперь представлялась ей лучезарно-счастливой, мама не могла удержать рыданий и зажимала рот, чтобы не разбудить нас. Я не спал, мне бы вскочить, обнять ее, успокоить, но врожденная деревенская скованность не позволяла мне это сделать...

Через несколько дней, услышав стук в ворота, мы, наспех накинув пальтишки, высыпали на мороз, здоровались с мамой, с батём (дедушкой), который помогал маме пригнать корову (за 60 верст!), опасливо поглаживали корову по заиндевелым бокам, давали ей картошку. «Да вы чо? Сырую она ись не будет, сварить надо», — говорила мама, счастливо блестя глазами. А потом топили печь и варили картошку в двух чугунах — в маленьком нам, в большом Зорьке. А тут и мама идет с подойником. Молока было мало, и было оно густое и желтоватое (Зорька скоро должна была отелиться), но как же вкусна была картошка с этим молоком! А мама, покрасневшая от тепла, рассказывала, глядя рукой то одного, то другого:

«Это уж Господь вам, сиротам, помог! Прихожу в деревню, а батё вот говорит, что коровы дорогие, почти что как в городе. Пойдем-ко, говорит, мила дочь, к Анфимовне в Вассяты, у её телка кривая, — может, дешевле отдаст. Так и вышло, слава тебе, Господи! Ой, сыночки, чо ишо расскажу: ведь чуть вы сиротами круглыми не остались! Ведем это мы с тятинькой корову через Каму. А уж такая холодишша, такая холодишша! Ветер, пурга, спасу нет! Тятинька

корову тянет, говорит: „Скорее иди, мила дочь, замерзнем!“ А я уж совсем из сил выбилась. Говорю ему: „Иди, тятинька, я хоть маленько постою, передохну. По следу догоню, след-от не успеваешь заметить“. Ну, села я на ледышку какую-то, и так мне хорошо стало, в сон поклонило. И замерзла бы ведь, если бы не тятинька вот. Вернулся, корову за собой тащит, тормозит меня: „Ты чо, мила дочь? Робетишек сиротами оставить хочешь?! Ну-ко, вставай, вставай!“»

Вскоре зимой Зорька отелилась. Мы с нетерпением ждали этого дня, и не столько ради молока, сколько ради теленочка. Ждать его начали загодя, недели за две до предполагаемого срока. Каждую ночь мама вставала раза два-три, зажигала керосиновый фонарь, будила меня, и я, мотая сонной головой, не попадая в рукава пальтишка, одевался и, пошатываясь, шел с ней к стайке — вдруг Зорька не может отелиться и ей нужна наша помощь! Но Зорька отлично справлялась без нашей помощи, родов я так и не видел ни разу. Всегда было так: мы с мамой заходим в теплую, пропахшую коровой стайку и видим там теленочка. Вот он, весь мокрый, стоит на подгибающихся ножках и тянется к материнскому вымени, а она тревожно и негромко мычит.

Утром я сообщаю новость братьям и сестре, и мы бежим посмотреть на теленочка. А потом следим, как он подрастает.

Но вот наступает печальный день. Теленка отнимают от Зорьки, и пришедшие мужики закалывают его и сдирают шкуру, подвесив его за задние ноги к перекладине сарая. Конечно, взрослые старались делать это незаметно, когда мы были в школе, но полностью это не скроешь, и это было для нас большим потрясением. Помню, как Гера (не только самый глазастый, но и самый чувствительный из нас) заметил, что мама бросила в печь телячьи ножки, чтобы опалить их. «Ты чо это бросила, мама?» — вскинулся он. «Чо... чо!.. Да вон дров подбросила, печь-та еле пыхтит!» Но Геру обмануть трудно, он высоко подпрыгивает, успевает на лету рассмотреть в горячей печи дымящиеся ножки с копытцами и отчаянно причитает, совсем как плакальщица на похоронах: «Милый ты мой теленочек! Горят твои ноженки! Да как же им больно!»

А за год счастливая детская память успевала вычеркнуть всё неприятное, и мы снова с нетерпением ждали очередного теленочка.

Корова помогла нам выжить в военные годы, хотя большую часть молока продавали — чтобы купить муки и какую-то одежонку. Но

сколько же было забот и хлопот с нашей кривой красавицей-кормилицей! Утром и вечером дать сена, напоить, наварить чугуна картошки и растолочь ее поленом, от которого в руки врезались занозы. И толочь можно только горячую, и горячая жижа, как гейзер, выбрызгивает и обжигает руки. А еще — чистить стайку. А еще — продавать молоко на базаре. (Случай: передо мной бутылка молока на прилавке, что-то (может — кто-то?) меня отвлекает на минуту, а потом я в изумлении таращу глаза на пустое место, где только что стояла моя бутылка.)

Но главная забота — заготовка сена.

Летом всё сравнительно просто. Коров в городе было довольно много, но и полей вокруг достаточно. Сначала корововладельцы нашей улицы решили пасти летом коров по очереди. Помню, с нетерпением ждал момента, когда пастухом стану. Еще бы: сяду на бугорочке, коровки пасутся, в дудочку играю, бичом хлещу, а главное — читать можно. Взял с собой книжку, но — даже и открыть ее не пришлось. У коров, как у людей, всегда находятся хулиганки. Все жуют травку или лежат, пережевывают, а ее вот несет куда-то в чащобу! Выгнал одну, а тут в другой взыграл дух свободолюбия! Видимо, и соседи наши поняли, что нужен профессионал, и наняли пастуха.

Хорошо помню: сквозь сон слышишь звуки пастушеского рожка, артистическое щелканье бича и мычанье коров — гонят стадо нашей улицы. У каждой улицы было свое стадо (голов, я думаю, до полусотни). Приятно было слышать, как мама выгоняет нашу Зорьку, и снова погружаться в сон. А вечером стадо гонят с полей, и вся армия коров, которые паслись на воткинских лугах, делится на отряды, и каждый вливается в свою улицу. В отличие от коров-дур, которые не знали свой дом, Зорька свой дом отлично знала, и даже припозднившись, мы с умилением видели, как она ждет нас, щиплет скудную травку у наших ворот.

Но — бывает и на старуху проруха. Иногда Зорька отставала от стада, и мы бросались искать ее. Именно бросались — угонят, продадут или на мясо пустят! Невелик город, невелики и уголья, но всё-таки это километры, если не десятки километров. Во время таких вот поисков, летом 42-го (спустя два года после смерти папы) произошла странная история. Мама и тетя Толя (Евстолия) безуспешно искали Зорьку. Вечерело, устали. Тетя Толя говорит: «Вот, был бы

Зино живой, мы бы с тобой не мотались, он бы быстро нашел». И не успела она это сказать, как на противоположном склоне небольшой лощины они обе отчетливо увидели трех спускающихся вниз коров, и первая из них — Зорька! Мама и тетя Толя с радостными криками: «Слава тебе, Господи!» бросились им навстречу, а те вдруг пропали. Зорьку тогда нашли, но совсем в другом месте...

Ну это я про лето говорил. А зимой чем корову кормить? — сеном. На зиму его нужно не меньше 10 возов. А откуда их взять?

СЕНОКОС

Заготавливали сено мы сами, косили на полях по договоренности с колхозами, исполу, а то и из третьей части: из каждых трех заготовленных нами возов два — колхозу, один — нам. Косить — работа тяжелая, тем более что колхоз выделял нам самую неудобь — в болоте, с кочками, или заросшую всяким будыльником. Мама косила одна, я подключился только лет с 14-ти: спускаешься по крутому склону, машешь косой и только и думаешь: «Как бы не свалиться!» Иногда накошенное с таким трудом сено гнивало от затяжных дождей.

Ну а высохшее сено мы сгребали все вместе. Нам нравилась эта работа. Идешь с граблями вдоль крайнего ряда покоса и, как учила мама, далеко выбрасываешь вперед грабли, тянешь их на себя, на уровне ноги делаешь мгновенную остановку, а затем рывком бросаешь охапку сена назад и немного вверх, на следующий рядок сена. И вот уже вместо рядков с тоненькими пластинками сена образуются валы. Как приятно было кувыркаться в этих валах! Ляжешь на валу, раскинув руки, закроешь глаза, и душистое сено под тобой потрескивает тысячами былинки, создавая полную иллюзию дождя. Я даже сперва глаза открывал в недоумении: «Что, дождь начался?» Но — у мамы долго-то не залежишься. На небо показывает, кричит: «Скорей дайте! Кажись, дождик собираться!» Мама не ходит — летает по покосу, поглядывая на небо и молясь: «Матушка Владычица Богородица! Пронеси тучу мороком!» Мы делим валы на небольшие копёшки, подтыкаем под каждую две прочные палки и на этих палках, как на носилках, бегом стаскиваем эти копёшки в центр покоса. А там мама уже закладывает стог — с силой, налегая всем телом, втыкает в

землю высокий прочный шест (стожар), обкладывает его сеном. Стаскав к будущему стогу копешки, мы с мамой начинаем стожить. А младшим, Шурке и Герке, объяснять не надо — с граблями бегают по покосу, подгребают к стогу оставшееся сено, чтобы ни охапки не пропало. Я встаю на стог, а мама снизу вилами подает мне сено. Я его хватаю и, держась за шест в середине — стожар, равномерно раскладываю и утаптываю. Не дай Бог оставить где-то дыру — попадет туда вода, и загниет сено, пропадет стог. Но и примериваться долго тоже нельзя: мама, как машина, из последних сил бросает и бросает громадные навильники сена. Только бы самому не подвернуться под острые вилы (бывало и такое), и только бы успеть до дождя! И когда начинается дождь, он нас только радует — смывает с плеч липкий пот и колючую сенную труху. «Слава тебе, Господи! — крестится мама. — Ну вот, сыночки, большое дело сделали, сена воза три верных будет. Вы у меня ударная бригада!»

Вот сейчас смотрю я иногда на работу в колхозах-совхозах некоторых двухметровых тружеников села. Да сто очков вперед дала бы им наша «бригада», где старшему было лет 13–14, а младшему — 9–10!

«Ударная бригада» с шутками-прибаутками возвращается домой, и не такой уж дальней кажется дорога (верст 7–8). До чего приятно было вымокшим до нитки вернуться в наш дом — теплый, сухой, с полами, застеленными чистыми светлыми половиками! Мама бросается готовить нехитрую еду, а нас уж ничего делать не заставляет, чувствует — устали ее ребятишки: «Играйте, скоро ись (есть) будем». Но нам уж не до игры. «Бригада» лежит вповалку на кровати, и я младшим что-нибудь читаю или рассказываю.

Память сохранила множество эпизодов, связанных с сенокосом. Много там было и хорошего, и плохого. Приведу еще только один, особенно запомнившийся. После 5-го класса косили мы, далеко — верст 15 от города. Сметали стог, мама побежала в город, искать машину, а я с тетей Толей остались сторожить стог (иначе украдут!). Мама бегала по улицам Воткинска и никак не могла найти грузовик. На целых три дня стог стал нашим домом. Мне нравилось на том покосе: чистенький такой, сухой скошенный лужок, никакой работы: читай (помню: «Лже-Нерон» Фейхтвангера), бросай в цель дротики, сделанные из веток, лениво болтай с тетей Толей. Вот только продукты

быстро кончились, и мы питались в основном ягодами — земляникой и клубенигой (дикая клубника). Поэтому мы так обрадовались, когда прибежали к нам Тайка и Нюрка, принесли хлеба и сметаны (сами понимаете: более вкусной сметаны я в жизни своей не ел).

А еще через день приехала наконец мама, мы увезли сено. Но, ночуя в стогу, я застудил ногу. Бедро стало багровое, блестящее, как будто лакированное, и болело. Врачи что-то признали, кажется, воспаление клетчатки, пытались помочь, но дальше установления диагноза дело не пошло — мне становилось всё хуже. Я уже совсем не мог ходить, недели три валялся в постели. И вот приходит как-то к маме знакомая и говорит: «Николаевна! Да ты смазывай ему ногу говном!» И очень скоро я встал на ноги. Помню счастливый августовский день: я впервые иду с мамой в центр, да еще и в кино (как много значило оно в нашей жизни!), да еще и Левитан по громкоговорителям кричит об освобождении от немцев очередного нашего города и об орудийном салюте в честь этого события.

Нет худа без добра. Болезнь ноги помогла мне через год избежать ремесленного училища и остаться в школе. История характерна для того времени, стоит ее рассказать.

Было так. Осенью, уже после войны, прямо в середине урока входит в наш класс Зинаида Ивановна (директор школы) и с ней какой-то незнакомый мужчина. Она говорит:

— Ребята! Вы понимаете, что стране нужно восстанавливать хозяйство, разрушенное войной, нужны квалифицированные рабочие. Двое из вашего класса направляются в ремесленное училище. Это... это... — Зинаида Ивановна уткнулась в список, ну а мы, особенно, конечно, второгодники-двоечники, замерли: ремесленное училище пользовалось в Воткинске дурной славой, «ремесленники» — шумный, драчливый, вороватый народ, в основном беспризорники. Это... — Зинаида Ивановна никак не решалась назвать фамилии — это... Мухлядо и Санников.

Кто направил в «ремесленное» лучших учеников класса — остается только гадать. Тут же, в середине урока мы со Славкой Мухлядо собрали книжки-тетрадки и, всхлипывая, пошли домой. На следующий день мы должны были прийти к директору ремесленного училища, но Зинаида Ивановна через кого-то передает нашим

родителям, чтобы мы никуда не ходили, сидели дома и учили уроки (чтобы не отстать), а школа постарается нас отстоять.

Знакомые успокаивали маму: «Ну, чо, Сима? Может, и к лучшему! Вовка закончит ремесленное, на завод пойдет, зарабатывать будет! Тебе же легче будет! Вон у тебя какая орава!» Но мама даже слышать об этом не хотела, предприняла героические усилия, чтобы вернуть меня в школу. Мы с ней ходили к председателю Горисполкома (помню даже его фамилию — Быков), а с дядей Ваней даже в столицу (Ижевск) ездили.

Родичи мои упирали не на закон, не на Сталинскую конституцию, гарантирующую право на образование, — они били на жалость, на то, что я — «первый ученик» (это была правда), «здоровьем слабый, в прошлом году нога болела, вот и счас маленько прихрамыват» (а вот это уже неправда — я нормально ходил, бегал, прыгал, но перед посещением высокого начальства мама и дядя Ваня тренировали меня немного подволакивать ножку). Совместными усилиями нас отстояли, и через месяц мы со Славкой вернулись за свои парты. Не получилось из нас токарей.

ТАРАКАШКИ, КЛОПИКИ, ВОШКИ-БЛОШКИ

Кроме блошек, все остальное водилось в военные годы в достаточных количествах. Надежных средств борьбы с тараканами и клопами как-то не было. Обваривали их кипятком, смазывали керосином, а зимой, если паразиты совсем уж одолевали, их вымораживали. Вся наша семья переселялась на несколько дней к кому-нибудь из теток. Распахивали все двери. Интересно было зайти в пальто, в шапке в наш дом, ставший таким незнакомым: на полу снежок, иней на стенах, мороз как на улице. После этого на некоторое время можно было вздохнуть с облегчением.

Ну а вошки водились не только в военные, но и в довоенные и в послевоенные годы. Да и в предшествующие эпохи, судя по литературе, вошек и охоту на них не считали в России чем-то экстраординарным. Достаточно вспомнить оду «Фелица», где знатный екатерининский вельможа Гаврила Романович Державин включает истребление вошек в картины семейного счастья:

Иль, сидя дома, я прокажу,
Играя в дураки с женой;
То с ней на голубятню лажу,
То в жмурки резвимся порой;
То в свайку с нею веселюся,
То ею в голове ищуся;
То в книгах рыться я люблю...

Помню, приходит к нам кто-нибудь из теток: «Ну-ко, Сима, давай поищемся. Чо-то голова чешется!» Мама берет специальный нож (он так и назывался — *вшивик*), сестры садятся рядом, и одна ищет в волосах, а другая лениво разговаривает или подремывает.

Как, наверно, у любого человека, были в моей жизни эпизоды, которые хотелось бы забыть. Один из них связан с обсуждаемой малоаппетитной темой, относится ко времени, которое я описываю, и приходится его привести. Что делать? Из песни слова не выкинешь...

В пятом классе на уроке я увидел, как по волосикам над ухом Маши, моей соседки, карабкается, как моряк по канату, большая вошь. «Иустина Арсентьевна! У нее вошь!» — завопил я, указывая пальцем на сразу зарозовевшее ушко девочки. Мне хотелось показать себя поборником чистоты и борцом за гигиену. Малопохвальное намерение, тем более что, как я уже писал, у меня и у самого (как и у всех, наверно, в те военные годы) вошки водились. Подошла учительница, удмуртка Иустина Арсентьевна. «Ничего, ничего, Машенька! Вот тебе зеркало. Аккуратно сними вошку!» А потом посмотрела на меня — так, что и сейчас, спустя многие годы, стыд жжет мне щеки.

НОВЫЕ ИГРЫ

В годы войны мы, естественно, тянулись к оружию и осваивали военную технику так же легко, как наши дети и внуки осваивают компьютерную.

Пистолеты, бомбы. Мы с сестрой Любой случайно обнаружили, что лейтенант, постоялец тети Клаши, частенько оставляет свой пистолет ТТ под подушкой. Я доставал из рукоятки обойму с

патронами, разбирает пистолет, снова собирает, вставлял и доставал обойму с патронами (боевыми!), бегал за сестрой Любкой: «Стой, руки вверх!» и нажимал на курок. Бог миловал, я ее не застрелил. (Но вот — я уже говорил — мой товарищ, Колька Нельзин, всадил подобным образом добрый заряд дроби в бедро своей тетке.)

И еще один случай, тоже с оружием. Мы с мамой косим сено около Сивы. Вдруг я вижу — бомба, настоящая бомба (поблизости был небольшой учебный аэродром). Маленькая, килограмм на пять. Мама в ужасе, а я корчу из себя опытного воина, объясняю: это вот корпус, это, мама, — стабилизатор, чтобы в воздухе не кувыркалась. И небрежно швыряю бомбу в сторону. А ведь могла бы и сдетонировать, наверное!

Шихта. Стоит, пожалуй, рассказать и о нашей шихте. На окраине города было громадное кладбище танков, орудий и прочего военного снаряжения. Поле между заводом, железнодорожной станцией и Сивой — точь-в-точь поле сражения: обгорелые покореженные танки с черными крестами или с красными звездами, разбросанные повсюду пулеметные и автоматные диски, пробитые каски — черные немецкие и зеленые наши. Всё это переплавлялось на нашем заводе в новенькие пушки и возвращалось в пекло войны, туда, откуда прибыло к нам.

Была на шихте какая-то охрана, были строжайшие запреты учителей и родителей, подкрепляемые рассказами о ребятах, которые подорвались там на минах и гранатах. Но разве этим мальчишек остановишь? Стало совершенно неприличным не иметь автоматных или пулеметных (от ручного пулемета) дисков. Ну а бабки любой уважающий себя мальчишка складывал в немецкие каски. (Наши каски мы не использовали, как-то рука не поднималась. К тому же они, опрокинутые, были неустойчивы, падали.)

Помню, как мы ходили на шихту с Колькой Нельзиным. Он, вообще говоря, и так был вооружен «до зубов» — у него был кастет, над кроватью висела казацкая шашка, а под кроватью он прятал настоящий револьвер Смита-Вессона, правда, без патронов. Однако Коля охотно пошел со мной на шихту, а может, даже сам подговорил меня туда пойти.

Пределом наших мечтаний было найти пистолет, кинжал, кортик или немецкий нож (некоторые счастливики их находили). Но ничего

такого мы не нашли, хотя старательно шарили в завалах оружейной мелочи, лазили по танкам.

Видимо, мы бродили там довольно долго: родители (моя мама и тетя Тоня — мать Кольки) успели узнать, куда мы ушли, встретиться, обсудить план действий и снарядить небольшую спасательную экспедицию. Когда мы, шмыгая носами, увешанные оружием, в немецких касках на голове, робко подошли к бегущим навстречу родителям, затрещин и тумачков, к нашему удивлению, не было. Объятия, поцелуи, нежные упреки. Видимо, по дороге наши матери, распаляя друг друга, рисовали в своем воображении детские оторванные ручонки, ножонки, головёнки и сейчас были рады видеть своих чадушек живыми и здоровыми.

Фейерверки. В 7-м (или 8-м?) классе мы с Юркой Крыловым увлеклись химией. Ходили в химический кружок, но больше всего интересовались фейерверками и горючими веществами, которые мы приносили из школы.

Как-то дома у Юрки, в кухне, на столе стали мы орудовать с бертолетовой солью. Она и сама по себе может взорваться при неосторожном перемешивании, а мы ее смешивали — с красным фосфором! Удивительно, но первый опыт кончился благополучно: приготовленную (мною!) смесь подожгли в печке и восторгались ярким пламенем. А потом Юрка решает повторить эксперимент. Но только он начинает смешивать бертолетову соль с фосфором, как смесь взрывается, загорается. Мгновенно сгорает клеенка на кухонном столе, загорается сам стол, а кожа на руке Юрки слезает как перчатка. потушили начинающийся пожар, залили руку подсолнечным маслом. Потом, на уроках, мы, конечно, завидовали Юрке, который был освобожден от письменных классных и домашних заданий и сидел на уроках в байроновской позе, облокотившись на забинтованную руку и читая книжки.

«Страшилки». Даже любимые нами «страшилки» стали в военные годы другими, привязанными к войне. Помню одну, рассказанную двоюродной сестрой Нюрой. Мама тогда куда-то ушла, и Нюрка пришла к нам «спать» — чтобы мы не боялись. Видимо, ради этой благой цели она рассказала такую историю.

«В Ленинграде было дело. Идет одна девочка. А зима, холод, метель метет, и она, голодная, уж и идти не может. Хорошо, дяденька какой-то мимо шел. Подобрал он ее, к себе домой привел. „Грейся, — говорит, — девочка. Есть-то нечего, а чайку сейчас принесу“. Поклонило ее в сон, стала засыпать, а потом слышит: кап-кап, кап-кап... Вроде вода в шифоньере каплет. Открыла она дверцу, да так и обмерла: там вместо одежи — туша человеческая висит, и кровь в таз каплет: кап-кап... кап-кап... Ну, она, метель не метель — бежать оттуда». Это *кап-кап... кап-кап...* делает историю особенно правдоподобной, и мы дрожа прижимаемся к Нюрке.

Репродуктор, *радио* появилось в нашем доме только в 1943-м, выменяли его на картошку. И как же мы любили детские передачи, музыкальные постановки, которых было тогда много, и они были отличного качества, с участием лучших артистов. «20 тысяч лье под водой», «Таинственный остров», «Человек-невидимка», «Малахитовая шкатулка», «Клуб знаменитых капитанов» и многие, многие другие. Передачи повторяли по много раз, и каждый раз мы слушали их всё с тем же интересом.

И особенно притягивала и восхищала (и пугала даже!) передача по «Звездному мальчику» Оскара Уайльда. Удивительный, неземной какой-то голос Звездного мальчика (артистка Бабанова) и такой захватывающий сюжет. И когда Звездный мальчик, посланный злым волшебником, после долгих поисков находил наконец золотую монету и в очередной раз нес ее волшебнику, мы боялись, что у городских ворот опять встретится вчерашний нищий и придется опять отдать ему монету. И — ужас! — вот снова он: «Мальчик! Не проходи мимо! Поддай мне милостыню, или я умру с голоду!» И почти ненавидишь этого нищего (ведь злой волшебник убьет Звездного мальчика, если тот не принесет ему монету!), но, слушая душераздирающие мольбы нищего, понимаешь: не дать ему монету тоже нельзя... И как радовал волшебный счастливый конец!

МУЗА

Мое знакомство с Музой, всю жизнь сопутствующей поэтам, — знакомство шапочное. Но и за это — спасибо. Я всё-таки видел тебя

(Вас?), Муза... Пусть Вы явились ко мне только раз, много лет назад, да и то, наверное, ошиблись адресом...

Вот как это было. По темным улицам я возвращаюсь из школы (6-й или 7-й класс). Мороз. Луна освещает деревянные домики, снег. И вдруг я какими-то новыми глазами взглянул на эту сто, тысячу раз виденную картину. Поразили меня какая-то враждебность этого снега и страшный холод в нем и вокруг него. Дома я наскоро поел тюрьки. Настроение не проходило, требовало выхода. Я сел у окна, снова посмотрел на поразивший меня снег... Взял ручку и, окуная перо в непроливашку, написал первые мои стихи. И это было настоящее вдохновение — в горящей голове не то слова, не то музыка, руки в холодном поту... Они мне и сейчас нравятся, эти стихи, несмотря на их неуклюжесть и даже неграмотность (чего стоит это *Бога молит!*):

Зимняя ночь наступает,
Землю крылом закрывает
От солнца холодных лучей.
Рано еще, но кончается день.
 Снег серебристый пылает огнем,
 Синие искорки видятся в нем.
 Он так суров! Нет его холодней!
 Холоден, глух он к заботам людей...
Дерево сухо в лесу заскрипит,
Словно о помощи Бога молит.
Словно тяжелый покров снеговой
Силится скинуть бессильной рукой...
 Зимняя ночь наступила,
 Землю крылами закрыла
 От солнца холодных лучей.
 Рано еще, но уж кончился день.

Были, конечно, стихи и после этих. Некоторые из них даже помещали в школьной стенгазете, но уж писал я их не с Музой, а один или с моим другом Витей Богатыревым. Чего стоит, например, наш «Гимн рыбаков» или экспромт, обыгрывающий имя великого французского писателя:

«О горе мне, горе!» — воскликнул Оноре.
«Дурак я, дурак», — заплакал Бальзак.

(Мы, да, кажется, и многие учителя наши, не знали, что во французском языке ударение всегда падает на последний слог слова — *Оноре*.)

Не обошлось, конечно, и без любовной лирики. Какие у Риты были косы! А вот носик нравился мне меньше. Поэтому мое стихотворное признание в любви содержало элемент неопределенности:

Люблю ли тебя, я не знаю.
Но кажется мне, что люблю.

Я был очень доволен этими строчками и огорчился, обнаружив, что их уже написал однажды один русский поэт (какой-то А. К. Толстой), опередив меня на добрую сотню лет.

Заметное место в моем творчестве занимали патриотические мотивы. С возмущением бичевал я людей, бросающих родной Воткинск (иногда его пренебрежительно называли *Клопинском*):

...А Клопинск плох, ему куда,
В другие едем города!
Кто город нам построит с вами? (*восклищал я*)
Должны мы строить город сами...
и т. д.

Увы, увы! Через пару лет и я, и почти все мои товарищи на всю жизнь покинули Воткинск.

Способность к рифмоплетству помогала на уроках литературы. Вот (в восьмом уже классе) дает Александра Ивановна сочинение на дом — «Мужество и геройство». Писать — скучно, а вот рифмовать — веселее. И пошло:

Мужество и геройство
В защите страны своей
Есть неизменное свойство
Наших, советских людей...

и т. д.

Результат — пятерка (поскольку нет грубых грамматических ошибок) плюс публикация в школьной стенгазете.

Вам сочинение на тему «Дружба и товарищество»? Да ради Бога! Как у Пушкина: «Пальцы просятся к перу, перо к бумаге, минута — и стихи свободно потекут». Ну, сначала, сами понимаете, приведем примеры великой дружбы: Маркса с Энгельсом, Ленина со Сталиным (мы даже и не подозревали, что в конце жизни Ленин Сталина терпеть не мог!). Потом перехожу к современности и гневно клеймлю падение нравов в нашей отдельно взятой школе, где друзья превратно понимают дружбу:

На прочих косятся волком,
Делят махорочный дым,
Подсказку считают долгом,
Священным долгом своим!

Результат тот же — пятерка плюс публикация в школьной стенгазете.

Вскоре, однако, у меня появились последователи (и конкуренты) — поэты «местного масштаба», пописывающие в жанре школьного сочинения. Александра Ивановна почуяла неладное и потребовала, чтобы мы перешли на презренную прозу.

В ДЕРЕВНЕ

Дедушка, старовер Аким Никитьевич, тоже пытался поселиться в Воткинске вместе со всей родней, сбежавшей из деревни. И — не смог тут жить. Уехал было в Сибирь, но скоро вернулся в родную деревню Пески, да тут и осел вместе со своей старухой. Землю, как я уже

говорил, у них отняли, оставили только огороды, но как-то сводили они концы с концами, даже и нам помогали. Каждое лето мы, ребяташки, на месяц, а то и больше уезжали в деревню.

Впрочем, это лишь с натяжкой можно обозначить словом *уезжали*. Рано-рано утром (часов в 5) мама будила меня или меня и брата Шурку (мы обычно ездили в деревню с ним) и провожала нас на Галёвский вокзал, на местную кукушку, идущую до станции Галёво на Каме. 20 километров на поезде были для нас целым путешествием, мы не отрываясь смотрели на проплывающие мимо окон деревни, поля, стада. И вот конечный пункт — большое село Галёво, сейчас затопленное великими преобразователями природы. Сходишь с поезда, и прямо перед тобой — Кама.

И вот тут два варианта.

Один маршрут интересный и притом легкий: на пароходе до пристани Елово и дальше 22 километра пешком до деревни дедушки — Пески. Но это дорого, да и парохода попробуй дождись. Но как же заманчив был этот путь! Плынешь на беленьком камском парходике (обычно потихоньку забравшись на палубу первого или второго класса) и смотришь на реку, на дикие берега. Какая же она была красивая, Кама, до того как ее превратили в «великие моря»! Они, эти моря, затопили множество деревень, угодий и превратили прибрежную зону в болота, из которых, как громадные пики, торчат невырубленные (!) гниющие деревья!

Впрочем, и на этом легком пути ждало немало приключений и неожиданностей. Вот возвращаюсь я от деда пароходом из Елова. «Уж вечер, облаков померкнули края...» Брожу по пароходу, а потом сажусь на бухту каната. Заснул. Проснувшись, слышу шум, гвалт, бросаюсь к трапу: моя пристань! Галёво! Но — сходни уж подняты, и пароход отчаливает. Сошел на следующей пристани (Сайгатка), переночевал на твердой скамейке, утром взял билет назад, на мое прозванное Галёво. Вон и пароход идет. Да только не остановился он в этой дыре, как и несколько других пароходов! И сидел я там трое суток. Гостинцы мамы-стары (бабушки) скоро кончились, и я питался в основном ягодами. Прибыл домой с трехдневным опозданием, но мама особенно и не волновалась. А сейчас мы волнуемся, когда дети задерживаются на час-два!

Вспоминается и другой забавный случай, связанный с этим (камско-пароходным) вариантом пути в деревню. Приплываю на пароходе в Елово. До деревни деда — 22 километра топать. А тут редкая удача — в Пески едет Яков, сосед деда: «Да садись, не довезу ли чо?!» Подхожу к телеге — зловоние страшное. Оказывается, Яков приезжал в Елово в ветеринарный пункт лечить у кобылы чесотку, и ее обмазали каким-то зловонным снадобьем. Но — мы были люди непритязательные, и во время пути мне досаждало, пожалуй, не столько зловоние, от кобылы исходящее, сколько пение Якова. Благочестивый, но гнусноголосый старовер, он всю дорогу тянул псалмы: «Ой, горё, горё мне, горё мне великоё...»

Обычно мы выбирали другой путь — без парохода, 40 километров пешком. Тогда выходишь на берег Камы, где тебя уже ждет стайка мальчишек-перевозчиков. Набрав комплект пассажиров (человек 6–8), мальчишка — опытный кормчий — приказывал пассажирам грести, а сам направлял лодку — не прямо на противоположный берег, а наискось, почти на 45 градусов против течения. Оно и понятно: Кама — река быстрая, раза в два быстрее Волги, и с этим надо считаться. Я не труслив, и плавать умел, но когда лодка наша выплывала на стрежень, вода бурлила за кормой, а оба берега еле видны — дух захватывало.

Переплыли. Дальше тоже два варианта: пройти 40 километров, отделяющих тебя от любимых деда-бабки, за один день, или же за два, переночевав на середине пути в деревне Берёзово. Чаще всё-таки выбирали первое, добирались до деда за один день, но — тяжело это... Места дикие, но очень красивые. Волки летом на людей не нападают, змеи, правда, встречались, но мы их не очень боялись: просто смотри под ноги, не наступай на них, они сами уползут. А главное удовольствие — вода. Столько ручейков (чистейших, и песок трепыхается на дне), столько родников на пути, и у каждого свой вкус! Ты уж переполнен, пить не хочется, но удержаться, чтобы не сделать глоток-другой, тоже нельзя. Уже поздно вечером выходим на угор, внизу деревня Пески, вон и дом деда, из последних сил бредем к нему. В окно видим: дед и бабка ужинают под керосиновой лампой. Рады приходу внуков (всегда неожиданному, с ними не согласованному): «Ой-хой-хой! Да как хорошо! Садитесь-ко, садитесь, милые сыночки!»

Убей, не помню, почему мы предпочитали добираться до деда за один день — экономии времени всё-равно ведь не получалось! Пройдя за день 40–45 километров в легких тапочках («спортсменках»), мы так отбивали себе ноги, что дня два вообще не могли ходить: валялись на полу, на войлоке, читали, болтали и время от времени по призыву мамы-стары приползали за стол, стараясь не ступить на ноющие ноги.

Возвращались из деревни домой тоже обычно пешком. Подходя к Галёву, иногда и под артобстрел попадали. Дело в том, что в Галёво, на Каму, привозили испытывать новенькие, выпущенные на Воткинском заводе пушки. Стреляли через Каму, по противоположному берегу, тому самому, по которому мы возвращались. Разумеется, у дороги стояли большие щиты с запретом ходить с такого-то по такой-то час. Но кому же хочется опаздывать на вечерний поезд из Галёва в Воткинск и коротать ночь на твердой станционной лавке? Вот и шли под грохот пушек. Ну, это, пожалуй, слишком громко сказано: выстрелы были довольно редкие, да и стреляли не разрывными снарядами, а металлическими болванками. Не слышал, чтобы хоть раз в кого-то такая болванка угодила. Я маму успокаивал: «Мама, опасность пустяковая, один шанс из миллиона!», а она возражала: «А если этот шанс — да в башку угодит?» Честно говоря, мне и самому тоже было как-то не совсем уютно.

Деревня Пески — одна длинная улица деревянных домов, точнее — пол-улицы, поскольку почти все дома — на одной стороне, той, что ближе к речке. Дома — спиной к речке, за домами — огороды, а еще дальше, у самой речки, выстроились баньки. И у каждого хозяина — тропочка от дома через огород к баньке, и дальше — свои лавы (две доски — переход через речку). А на той стороне речки — крутой угор и лес. Вот мама-старая говорит: «Робетишка, наберите-ко ягодок к чаю!» Мы бежим через огород, перебегаем лавы и через полчаса возвращаемся с угора с большими кружками земляники.

Не любили мы собирать смородину: лужи, кочки, комары. Малина — уже получше, места посуше. Но больше всего любили собирать черемуху. На поляне выбирали большую черемуху, забирались на нее, удобно устраивались, как птицы, на ветках. Ветерком нас обдувает, болтаем, «доим» черемуху: берешь в руки гроздь и одним движением смахиваешь ягоды в мешок-передник, завязанный на поясе.

А сколько было грибов! Помню, за грибами ездили на лошади (пока она у деда еще была). Вперед ехали, сидя в плетенке, а обратно шли пешком: плетенка была полна грибов, и не всяких, а на засол — грузди и рыжики. Да и рыжик не всякий хорош, лучше крепенький, боровой, с загнутой шляпкой. А еловый, с прямой шляпкой, при засолке синееет и размякает. Но с какой охотой я поел бы сейчас даже и еловых рыжичков!

Здесьняя деревенская жизнь мало отличалась от привычной, воткинской. И работы были те же: уход за огородом, заготовка дров, сена, ягод, грибов, подметанья, протиранья, но не было такого напряжения, как дома, в городе, и гораздо больше оставалось времени для игр и чтения.

В июле 42-го я был в деревне у деда. Как нас поразило сообщение о падении Севастополя, который героически оборонялся многие месяцы! Но, следует признаться, пожалуй, что на меня и моих братьев не менее сильное впечатление произвела тогда приятная находка в деревенской конторе. Игрушек, я говорил, было у нас очень мало. Мы усердно коллекционировали спичечные коробки, но — туго пополнялась наша коллекция. И вот в деревенской конторе мы нашли на замусоренном полу уборной целое богатство — 7–8 пустых спичечных коробков с разными этикетками! Не осознав, что они скопились за многие недели, если не месяцы, мы потом каждый день отпраивлялись за коробками в уборную конторы, но — ни одного больше не нашли...

Были в деревне свои, особые законы, и надо было их принять (хотя бы на время). Некоторые из этих требований и неписаных законов были просты, и мы быстро их усвоили: здоровайся на улице со всеми, даже с незнакомыми людьми; крестись не тремя, а двумя пальцами; благодаря, говори «спаси Христос» («Спаси Христос, батё! Спаси Христос, мама-стара!»), а не «спасибо». «Спасибо! — так только безбожники говорят!» — сердился дед и никак не хотел верить, что *спасибо* — это тоже упоминание Бога (*Спаси Бог*), только слегка сокращенное.

Труднее было привыкнуть к высоким гигиеническим требованиям бабушки. На минуту оставишь неприкрытой кадку с водой, а бабушка — в панике: «Ой-хой-хой, робетишка! Воду-ту в кадце не прикрыли! Беси-те (бесы) уж сто раз в ей выкупались!» Я представлял себе

чертиков, которые плавают (брассом? кролем?) в кадке с водой, и начинал прыскать от смеха, вызывая еще больший гнев бабушки. Сейчас думаю: может, эти пугавшие бабушку черти — просто другое название микробов, и эти ее верования не так уж беспочвенны?

Удивляло в деревне вот еще что. Мы обедаем. Входит незнакомый (и нам, и деду с бабкой) мужичок из какой-то дальней деревни. Крестится в красный угол, садится на лавку. Совершенно неприлично — не пригласить его за стол. Для него же неприлично — принять приглашение. Хозяева вторично приглашают к столу. Правила хорошего тона требуют, чтобы гость отказался и от этого приглашения. И только если хозяин в третий раз повторяет приглашение, гость может с чистой совестью сесть за стол. Но — хозяин далеко не всегда это делает. Вы скажете: «Лицемерие! Зачем приглашать неискренне? Не проще ли и не честнее ли — пригласить один раз или не приглашать вовсе?» Дело тут, однако, сложнее. Не пригласить совсем — как-то неудобно, но главное не в этом: если пришедший, например, очень голоден и усядется за стол сразу, не дожидаясь троекратного приглашения, его накормят и никто его не осудит.

Мама рассказывала дошедшую от старых времен историю о деревенской старухе, впервые попавшей в город. Хозяин трактира стал ее зазывать: «Входи, откушай, бабушка!» Привыкшая к тому, что в ее краях приходящих, даже незнакомых, угощали бесплатно, старуха вошла: «Ну, дак угости, если милость-та будет!» Трактирщик предлагал ей всё новые блюда. Она с благодарностью соглашалась: «Ну дак принеси, если милость-та будет!», а потом без шубы, снятой с нес в качестве платы за угощение, вернулась в родную деревню, проклиная городские порядки.

Ели не спеша, истово (еще бы — устали, наработались!). Помню, дед при всей своей покладистости не выносил теплый, недостаточно горячий чай: «Это что за чай! Им только сады поливать!» (*садами* называли в деревне домашние цветы). И выливал налитый ему чай в *сады* — в горшки с цветами.

Всего труднее в деревне было чинно, как полагается у староверов, сидеть за столом — не хохотать, не крутиться, не шпынять друг друга под столом кулаками. Это не всегда (вернее — редко) удавалось, и время от времени батё считал себя обязанным применять более действенные, чем увещевания, методы воспитания. Спокойно, не

прерывая разговора, он с особой тщательностью облизывал ложку, несколько раз, примериваясь, прикладывал ее к голове возмутителя спокойствия, а потом звонко хлопал его по лбу. Ложка деревянная, а всё ж чувствительно. Морщась — одновременно от боли и от смеха — мы на время утихомиривались. Ложка работала с учетом церковного календаря: в постные дни удар был похлестче, в скоромные — полегче, а в церковные праздники ложка вообще отдыхала, в праздники не грех было и за столом пошалить и посмеяться.

ПРАЗДНИК В ДЕРЕВНЕ

Мама-стара с утра заставляет нас переодеться, надеть заранее заготовленные розовые рубашки: «Чо люди-те скажут? Скажут, у Акима внуки, как беспризорники!» Чувствуя себя как-то неловко в топорщащихся рубашках, мы с братом выходим на улицу. Бегать, играть в городки как-то странно. Чинно идем по деревенской (главной и единственной) улице. На бревнах около строящейся избы сидят мужики — такие же, как мы, аккуратно причесанные, отутюженные и тоже, наверно, не знающие, что делать. Как в раю: красиво, благолепно, но скучновато. Нам они обрадовались: «Садитесь-ко, садитесь, Зиновьичи. Это чо, книжка ли чо у вас?» Через минуту 12-летний Зиновьич уже читал им «Рассказы для детей и народного чтения» Льва Толстого. Они внимательно слушали, похмыкивая в бороды, а нам приятно было сидеть со взрослыми мужиками как равным с равными и чувствовать, что чтение понятно и интересно им.

К полудню старообрядческое благолепие тает, сменяется долгим, до поздней ночи застоьем, которое сродни застолю в городе, которое я подробно описал. Были, однако, и отличия. Во-первых, песни были другие. Вот дедушка, усердно угощавший гостей брагой («Ну-ко, Анисимыч, держи!») и сам не забывавший «держать», неожиданно не пропел, а скорее прокричал скороговоркой:

Когда я мальчик был беспечен,
Не знал ни горя, ни нужды-ы-ы...

И все подхватывают: «Ко-о-огда я ма-а-альчик...»

Потом пели «Ты не вейся, черный ворон...» и другие незнакомые песни. «Старинные» — подумал я и удивился, когда мама-старая сказала своей сестре, Пелагее: «Ну их, Палага, к чёмору (черту) с песнями-то ихними! Споем старинную!» Скромно притулившись в сенцах, они стали петь, для себя. Сейчас я понимаю, что именно их песни были самым интересным из всего, что пелось на этом празднике, но тогда эти тягучие песни мне совсем не нравились. Как мало ценил я тогда и песни эти, и обстановку — все эти туеса, прялки, сундуки, старые старообрядческие иконы-складни, сам этот старый дом с лавками вдоль стен, с керосиновой лампой под потолком, и как бы я хотел сейчас попасть в этот дом и послушать эти песни. Но нет уж ни людей этих, ни утвари, ни дома, ни даже самой деревни.

К ночи, чего греха таить, и гости, и батё с мамой-старой с трудом держались на ногах. Я (вслед за Некрасовым) не очень даже этому удивлялся:

Мы до смерти работаем,
До полусмерти пьем.

...Вторая строчка не потеряла своей злободневности и в наши времена, а вот с первой — сложнее.

Наутро после праздника я проснулся от скрипа двери: нагнув голову в низкую дверь, вошел дедушка. Похож на гнома — маленький, седенький, под старой-престарой, бывшей черной шляпой, с корзиной только что набранных грибов. Сняв мокрые лапти (роса), сел на западню (возвышение с дверцей в подполье), стал чистить грибы. Я снова уснул, а когда проснулся, солнце заливало избу, играло на самоваре, который клокотал и трясся на столе. Обычная утренняя еда — *заваруха*. В большой общей миске заваривается крутым кипятком гречневая мука, разравнивается в виде воронки, в которую наливается масло. Отделяешь ложкой горячую заваруху, обмакиваешь ее в масло — и в рот. В том же самоваре одновременно варятся и яйца — на специальной подставке под крышкой самовара. И — никаких «опохмелов», праздник кончился: деревня, которая только вчера пила, кричала, плясала, орала частушки, занимается обычными делами — до следующего праздника.

РАЗГОВОРЫ, РАЗГОВОРЫ...

Мама была очень общительна. Не было дня, чтобы к нам не заходили (по делу или так, по дороге) родственники или знакомые. Днем двери (не только у нас, а у всех в Воткинске) никогда, даже в войну, не запирались. Гость проходил через двор, зимой в сенях обметал веничком валенки и без стука вваливался в дом (поскорее захлопывая за собой дверь, чтобы холоду не напустить): «Здорово живешь, Николаевна!»

Родственные связи ставились очень высоко. Даже «седьмая вода на киселе» могла всегда рассчитывать на приветливый прием и длительное пристанище — это в нашем-то доме, где в одной, по сути дела, комнате жила семья из пяти человек! Множество раз повторялась такая картина: поздно вечером — громкий стук в деревянные ворота нашего дома. Мама выходит в сенцы и возвращается с ватагой заиндевевших мужиков с кнутами. «Деревенские» приехали! Не всегда мама была в восторге от этих визитов, но никогда не показывала и тени неудовольствия. Но и гости были крайне непритязательны: вповалку лежали на полу, даже и на кухне, завернувшись в те самые тулупы, в которых приехали из деревни. Ну а мы, ребятишки, были на седьмом небе: новые люди, новые разговоры, а то и гостинчик из деревни.

Люди, среди которых прошло мое детство, были очень открытые. Встретятся где-нибудь — в поезде, в очереди за хлебом — незнакомые женщины, а через полчаса они друг другу всё выложат, самое сокровенное. Может, скрывается в этой изумляющей западного человека открытости некое религиозное чувство, христианское представление о божественном всеведении: если сам Господь Бог всё про меня знает, то чего уж мне таиться от такой же простой бабы, как я?

Так и вижу, как сидит на лавке около мамы (неустанно шьющей, порющей, глядящей очередной заказ) какая-нибудь мамина родственница или знакомка, косится на мою, казалось бы, безучастно склоненную над учебником голову и сначала шепотом, а потом, увлекшись, и совсем громко, говорит о том, что наболело.

Сколько таких вот бабьих (и не только бабьих) исповедей выслушал я в детстве! Обыденные разговоры о ценах на рынке, о продовольственных карточках, о вестях с фронта, даже о «похоронках»

— забылись. А вот несколько рассказов помню отчетливо, хотя лица рассказчиков (странно!) совсем стерлись из памяти. Многие из этих подслушанных разговоров были совсем уж не для детских ушей, но их-то лучше всего сохранила память... Приведу некоторые из них. Они, мне кажется, любопытны для характеристики эпохи и народной психологии.

* * *

— Ты ведь, говорят, Евсеич, за красных воевал, начальником был?
— Как же, было дело. (Тут я наострил уши — первый раз в жизни видел я красного командира, о которых столько читал.) Много нас было. Китайцы даже были, латышей много. Латыши больше всего шороху давали. Если услышат в деревне: «Латыши идут!» — всё бросают, по караваяю хлеба в руки — и бежать, в болото или куда. Смех! Ну и мы тоже спуска не давали. Прискачем, бывало, в деревню. Смотрю, где дом побогаче. Дверью так шваркну, кричу: «Кто хозяин? Ты чо?! С белыми снюхался, сволочь? В расход тебя!» И за бороду его. Он замельтешит: «Да ты чо? Опомнись, каких белых?! Кто говорит?» «Люди, — говорю, — говорят». Попугаю его этак, а потом говорю: «Ну ладно, на первый раз поверю. Моли за нас Бога своего. Да вон ребятам дай провиянту — телушку или там овечку. Ну и раны промывать — спирту или хоть самогонки!» Ну, он сам всё тащит, только бы нас спровадить!

И тут уж не выдерживает пионерское мое сердце. «Вы, — говорю, — просто бандиты были, а не красные бойцы!» «Молод ты ишо, — отвечает. — А красные бойцы што, Святым Духом сыты будут? Их кормить-поить надо? Вот то-то и оно!»

* * *

— Ну, чо в деревне новенького?
— Да ничо, Николаевна, жить и при колхозах можно. Раньше ведь, помнишь, от зари до зари спину гнули. Вы вот богатеи считалися, а сызмальства не розгибаясь робили.

— Да, уж помню! Девчонки были. Батраков никаких никогда не было, сами робили. В воскресенье робить — грех. Думаем поиграть. А отец-мать кричат: «Идите в лес, по грибы, по ягоды!»

— Ну, а мы счас, Николаевна, робим — ни шатко, ни валко, не бей лежачего. А чо я буду больше других ломаться-то? Председатель только шибко у нас плохой. Да ты, наверно, помнишь — Маркел Шутов.

— Нет, чо-то не помню.

— Да как не помнишь?! На дедушка-то его всё грешили (= подозревали), что лошадей воровал да цыганам продавал.

— Ну, теперь вспомнила. Только ведь Маркел за дедушка-та не ответчик.

— Так-то оно так, его никто и не виноватит. Только хозяин-то шибко плохой, нероботь. Бывало — сенокос, а он рыбачить идет. А сама знашь: кто рыбачит да удит, у того на ужин хрен будет. В комбеде (комитет бедноты) всё мельтешился. Он и в своем-то хозяйстве управиться не мог. А тут на тебе — шесть десятков дворов! Командуй, Маркел!

* * *

— Сима, слушай-ко, чо расскажу! (Тут гостья перешла на шепот, а я наострил уши.)

«Да на гавриловской дороге, ли чо?» — уточняет мама.

— Ну! Идет это Манька-то моя, а встречу ей — мужик, большушший да чернушший. Повернулся да рядом с Манькой и пошел. А тут у дороги копешка сена. Он ей и говорит: «Ну-ко, девонька, пойдём к копне-то, разговор есть!» Она от его бежать, а он ее схватил, ножик достал. «Ой, мама, — это она потом мне рассказывала, — у меня руки-ноги отнялись». Ну, чо сделаешь, Сима, — разделася она... А со страху-то обдристалася. Мужик-от посмотрел-посмотрел, плюнул да и дальше пошел. Так она от его и спаслася. Это уж Матушка Госпожа Богородица пожалела ее, дрисню наслала. Семнадцать годов ведь всего Маньке-то! Кто бы ее потом замуж-то взял, бутылку распечатанную!

— Ой, Сима, матушка! Ведь без горя нисколько не живи: Витька-то мой женился!

— Ну дак чо, сватья? Парень большой уж, женилка небось выросла. Радоваться надо!

— Да како радоваться?! Род-от шибко плохой. Помнишь, в Сайгатке-то Онисим кривой жил? Дак вот внучка его, Машка. А отец, в городе уж, всё бегал, рюмки собирал. Пьяница, хайло-то всё горело. Ну и Авдотью, мать-ту невестину, тоже не похвалишь. Никчемушная, не хозяйственная: ни зашить, ни постирать. И сама грязная, и робетишка в грязи по колено. По пословице: «У Матрены стряпня, на воротах тесто». А характер чего стоит? Злая как собака. А уж скупая — не приведи Господь! Над парным говном с ножом! Все Авдотье должны, Авдотья одна никому ничего не должна.

Ну, сказала я это всё Витьке, а он мне говорит: «Ты, видно, мама, забыла — я на Маше женюсь, а не на Авдотье». Нет, говорю, сыночек, — на Авдотье. Это ты сейчас на Маше женишься, сейчас она веселая да приветливая, а через десяток лет будет Авдотья, с Авдотьей век проживешь. Не нами сказано: «Яблочко от яблоньки далеко не падает!» И не хозяйственная она, Маша твоя: уж если девку сызмальства не научили, от неё — толку по хозяйству не будет, сам шить-варить будешь, сыночек. «Всё равно, — говорит, мама, — женюсь на Маше, нравится она мне».

Ну, сватья, тут уж я не сдержалась: «Да чему, говорю, нравится-то?! Ни титек, ни жопы! Две шпешки сложено да горсть соплей положено. Вот, говорю, Ольга соседская — вот это девка, всё при ей». Да, говорит, хорошая твоя Ольга, как Волга-матушка — широка, глубока, сильна. (В те годы вышел на экран фильм «Волга-Волга», и песня про могучую Волгу была у всех на слуху.)

Отвлекусь. В деревне, да, пожалуй, и в Воткинске полнота считалась признаком здоровья. Отсюда оценки типа «вот это баба так баба, не базарская обвертенька» (базарской обвертенькой называли у нас тощенький, предназначенный на продажу воз сена). Отсюда же пословицы типа: «Пока толстый сохнет, худой сдохнет».

— Ну, Сима, дальше — больше, — продолжала мамина знакомка. Осердился он на меня, заухал, а потом видит: я на лавке сижу, реву,

подошел, говорит: «Ну, ладно, мама, чо уж ты так переживать? Вот внук у тебя к Октябрьской будет или внучка. Сама же говорила, что до внука бы дожить!» Дак вы чо, говорю, уже под кустом обвенчались?! Молчит. Ну тогда, говорю, чо уж рассусоливать. Раз уж робёнка сделали, дак женитесь.

Вот во вторник в загс ходили. Я уж не пошла. Нет, говорю, Машенька. С молодежью, говорю, идите, куда уж нам, старым пням. В церкву — пошла бы. Давай, говорю, Машенька, обвенчайтесь потихоньку, никто и знать не будет. Батюшка обвенчат, всё честь-честью, певчие петь будут, венцы золотые на вас наденут. А то чо вы в загсе? — постоите у заляпанного стола, как две собачки у столба, вот и всё. А она мне говорит: «Нет, мама, сейчас никто так не делает». Ну не делат, дак не делат...

— Вот, Сима, матушка, растила-растила я сыночка, да Машке и отдала. Так его, дурачка, жалко, так жалко! Всякому ведь, сама знашь, свои сопли солоны! Разве такую бы я ему невесту нашла?! Нет, всё же таки в стары-те годы лучше было, когда невест сыновьям отцы-матери выбирали. Разве своему дитю кто-то худа хотел? А они, молодые-то, чо видят? Как котята слепые тычутся.

Тут мама не выдержала: «Ну, сватья, стары-те порядки тоже нечо шибко хвалить. Вот хоть меня возьми. Сватался за меня Харитон из Вассят. Такой парень хороший, так он мне нравился! А тятинька мой — ни в какую. Не отдам, говорит, дочь за Харю-табашшика. Ну, а чо уж такого, что курил Харитон? Счас все вон курят. Отдал отец за Петра, нашего, мартьяновского. У меня ведь до Зина-то ишо один мужик был. Ты чо, не знала ли чо, сватья?» (Я тоже с интересом услышал об этом неизвестном мне факте семейной биографии.)

— Ну, чо, — продолжала мама, до шепота приглушив голос, — встаю утром после свадьбы-то и не знаю: то ли я девка, то ли баба. Промучилась с ним полгода, да и ушла. Прихожу домой. А отец у нас — сама, наверно, знашь, сватья, — шибко строгий был, безжалостный — пока самого потом жареный петух в жопу не клюнул. «Ступай, — говорит, — к мужу!» Да какой он муж, говорю? «Всё равно, — говорит, — Бог вас повенчал, в церкви». Это ты, говорю, тятинька, меня с Петром-то этим повенчал! Отец заухал, ногами затопал. Ну, два года у чужих людей жила, в отхожках (разведенных). Там вот и шить научилась. А потом вот за Зина вышла.

— Ну, чо, Терентий Иваныч, как на войне-то? (Это был дальний родственник, по счастливой случайности попавший после ранения в наш воткинский госпиталь и обласкиваемый всеми нашими родичами.)

Я тоже встрял в разговор: «Дядя Терентий, а сколько ты немцев убил?» — «Сколько? Хвастаться не люблю. Так чтобы наверняка — ни одного. Бьешь по траншее или там по цепи, а попал, не попал — немцам лучше знать! Так они тебе и дались! Это не русский Иван, прёт на пулеметы. Это — вояки, нам у них учиться да учиться! Как меня ранили-то? Да чо рассказывать? В марте дело. Ну, приказ: взять высоту. Артиллерия наша перед тем поработала, всё у немца переворошила, вроде живого места нет. Идем, снег ишо глубокий и мокрый, но всё нормально, уж и до траншей немецких недалеко. Заорали: „Ура! За Родину, за Сталина! Ура!“ Тут немец и врезал. Кто у нас раненый упал, кто убитый, кто залег! Я залег, вроде целый. И вот кустик передо мной, полынь что ли, ветер ее туда-сюда. Ну, ерунда, а знашь, Николаевна, я вроде как за него прячусь. А какая это защита, смех! А тут снова: „Рота, вперед! Ура!“ Вскочил я, да и пяти шагов не пробежал — ранило. Жалко, легкая рана... Скоро вот комиссия — и на фронт».

— Да ты чо говоришь?! — вскинулась мама. — Ты чо, калекой бы хотел остаться?!

— Ох, Николаевна, в тылу-то легко рассуждать... А хочешь знать? — Помню, идем по лесу, по дороге, всё тихо, и вдруг немец как даст! Нам не досталось, по первой роте (перед нами шла) врезали. Не поверишь: идем, а на дереве кишки висят. А мы ничо, чуть не смеемся: «Завтра и мы кишки свои вывесим на показ, какие они баские! Ну не завтра, дак послезавтра...»

НЕМЦЫ

Только в конце войны (а может, уж и после ее окончания) видел я «живых» немцев.

В начале большой перемены наш Иван (великовозрастный белорус с широким шрамом на голове, почему-то приехавший после освобождения Белоруссии в Воткинск), широко ступая тяжелыми немецкими ботинками, внес в класс поднос с пятидесятиграммовыми кусочками черного хлеба (их стали выдавать в школах в дополнение к хлебному пайку, кажется, в 44-м году). Многие из нас выбежали со своими кусками во двор школы и увидели там — немцев! Мы и раньше слышали, что они работают на стройке недалеко от школы, но я их видел первый раз.

Они оказались совсем не страшные: люди в немецкой форме устало сидели на бревне, вытирая с лица пот и блаженно вытянув ноги — точь-в-точь как это делали наши отцы после тяжелой работы. Один из них подмигнул нам. Не отвечая, мы стали жевать хлеб, но как-то механически, без обычной жадности. Немцы, как по команде, отвернулись, и только один, самый молоденький, вряд ли старше нашего Ивана, видно, не смог этого сделать. Пожилой немец сказал ему что-то сердитое, а тот голодными щенячьими глазами всё глядел, как мы жуем, и сглотнул слюну.

Все эти годы в нас жила ненависть к немцам. Пожалуй, лучше всего это чувство выразил в своих стихах Алексей Сурков:

Человек склонился над водой
И увидел вдруг, что он — седой.
Человеку было двадцать лет...
Над лесным ручьем он дал обет
Беспощадно, яростно казнить
Тех людей, что рвутся на восток.
...Кто его посмеет обвинить.
Если будет он в бою жесток?..

Но тут, на школьном дворе, ненависть вдруг уступила место жалости к этим явно усталым и голодным людям. Кто-то дал хлеб этому мальчишке, а потом, подогреваемые его благодарным бормотаньем, стали давать и другим. Еще минуту назад мы могли и камнями забросать этих немцев, а сейчас произошел сдвиг в другую сторону, и он всё усиливался. Идиллическую картину братания

нарушил вышедший на крыльцо физик Петр Ефимович, моряк, комиссованный после тяжелого ранения. «Вы кого подкармливаете? Вы фашистов подкармливаете?!» — бешено закричал он. На побагровевшем лице четко выделился обычно малозаметный голубой шрам, на губах выступила пена. Не смея поднять глаза на нашего учителя, мы прошмыгнули мимо него в школу. А немцы, опасливо косясь на сердитого человека в тельняшке и форменке, поднялись и потянулись на стройку.

ПОБЕДА

Как ждали мы этого дня! Казалось, он будет началом какой-то новой, невообразимо прекрасной жизни. Наверно, так ждали первые христиане второго пришествия. Но — странная вещь человеческая память. Столько мусора сохранилось в памяти (и часть его — каюсь — попала в эти заметки), а вот от долгожданного дня 9 мая 1945 года не сохранилось почти ничего.

Помню, как утром вся дикая какая-то прибежала сестра Тайка, суматошно закричала: «Ой, тетя Сима, тетя Сима! Победа! Победа!» — «Какая ишо беда?» — всполошилась мама, настроенная (как и все в те годы) скорее на плохие, чем на хорошие новости.

Помню еще, как дождь загнал нас, ребят, на сеновал, и мы долго сидели там. Холодный дождь всё стучал и стучал по крыше, пахло сенной трухой, и мы сидели притихшие, как воробьи в непогоду, и не знали, что делать и как радоваться победе...

Дорого далась победа и стране, и моим родным. В конце 45-го года и в 46-м вернулись наши фронтовики. Из семи близких родственников погибли или пропали без вести четверо: дядя Илья, дядя Василий, старшие двоюродные братья Пимен и Парфен. Уцелели трое — дядя Коля, дядя Ваня и дядя Саша, но и они израненные и больные. Рассказывали о войне мало и неохотно.

Крейсер дяди Коли немцы разбомбили в Балтийском море осенью 41-го, он несколько часов плавал на каком-то плотике в холодной воде, его спасли. Рассказывал: «Еще бы немного — и конец. Я уж и кричать не мог». Потом воевал в морской пехоте в блокадном Ленинграде. После войны был демобилизован, но всю жизнь страдал от болезни желудка. Еще бы — постоянно на грани голода, ели, что под руку

подвернется. Рассказывал, что моряки пили крепко соленую воду, — это создавало иллюзию сытости.

Боевая судьба дяди Вани была еще сложнее и драматичнее. С весны 42-го служил в противотанковой артиллерии. Это были «смертники», на них немцы, оберегающие свои танки, направляли главный удар. В сборнике стихов профессора-лингвиста Михаила Викторовича Панова (офицера противотанковой артиллерии, прошедшего всю войну) есть очень сильное стихотворение, описывающее один эпизод войны. Немцы, взбешенные тем, что наша пушка сожгла два их танка, вешают около пушки ее расчет, взятых в плен наших артиллеристов:

— Гад Гитлер дал приказ: нас, противотанкистов,
Вешать около наших пушек. Словно грамоту выдал —
Лучше любых орденов, планок, тесемок, медалей.

У дяди Вани (наводчика противотанковой пушки) всё до поры до времени складывалось удачно, всего два легких ранения, имел боевые награды. А дальше произошла трагическая история (впрочем, за ее достоверность я ручаться не могу). Кто-то рассказывал мне, будто бы в начале 44-го дядю Ваню наградили отпуском домой. И вот накануне отъезда, когда он уже настроился ехать, «сидор» свой собрал, уложив в него какие-то гостинцы родным, его вызывают в блиндаж к майору (командиру батареи?), и тот говорит, что отпуск отменяется. Дядя Ваня вскипел (человек вообще был горячий), а майор на него заорал: «Р-разговорчики! В штрафбат захотел?!» А между ними стояли какие-то зарядные ящики, и на них лежал автомат. В беспамятстве дядя Ваня схватил автомат и — выстрелил в майора. Удивительно, как его не расстреляли, — послали в штрафбат. Известно, штрафбатовцев бросали в самое пекло, на верную смерть. Дядя, однако, уцелел, снова отличился, был ранен, контужен, и его демобилизовали. Помню, привез 16-кратный артиллерийский бинокль, и мы, забравшись на крышу, часами рассматривали окружающие дома, огороды, людей, кошек («Смотри, какая громадная, прямо тигр!»).

По случаю возвращения дяди Вани в Воткинске собрались родные, радовались, плакали («праздник со слезами на глазах»), пили,

пели, а дядя Ваня в разгар веселья вдруг упал навзничь, и мы, испуганные, смотрели, как он бьется на полу с пеной на губах (эти припадки довольно скоро, через несколько месяцев, прошли).

Самый младший мой дядя — дядя Саша (тот, которого многие годы шантажировал чекист) служил в Дальневосточной армии, под Хабаровском, потом воевал с японцами. Его направляли в офицерскую школу, но его всю жизнь тянуло к книге, и, демобилизовавшись, дядя поступил на филфак Ижевского пединститута. Помню, как он с наслаждением перелистывает учебники («Русский фольклор», «Теория литературы» Тимофеева). Но... но... хотя этот мой дядя в боях тяжелых не участвовал, ранен не был, но в ветреных зимних «диких степях Забайкалья» застудил голову, и врачи запретили ему учиться из-за постоянных головных болей. Дядя Саша всю жизнь проработал каким-то мелким служащим в Ижевском банке. И как он — нет, не завидовал — радовался, когда я поступил на историко-филологический факультет Пермского (тогда Молотовского) университета, и во мне, его племяннике, осуществилась его мечта!

Не везло дяде Саше и в семье, где его не понимали — ни жена, ни дочка. Помню, студентом приезжаю в Ижевск. Дядя Саша рад гостю, он с дочкой угощает меня малиной со своего огорода. А тут и Капа, его жена, приходит. И дочка ей рассказывает про отца: «Наш-то дристунчик, что сказал! Сказал, что мы набрали ведро малины!» И Капа молчит, а дядя Саша смущенно оправдывается: «Ну, а что? Почти полное ведро!..» — вместо того, чтобы дать девчонке по заднице и выкинуть из комнаты (для ее же пользы!). Неудивительно, что в конце концов семья распалась...

Вернувшиеся дядья-фронтовики немало помогали нам (вечная им память!). Но психологически маме стало, пожалуй, еще труднее. Помню, она, такая общительная, душа компании, отказывалась от общих гулянок, несмотря на настойчивые уговоры сестер и на наши уговоры: «Нет, сыночки, не пойду. Там все с мужьями будут. Чо я буду, как кукушка, одна сидеть? Мне и с вами хорошо!» А у самой на глазах слезы. Поэтому мы с облегчением слышали громкий, сердитый какой-то, стук в ворота: может, за мамой пришли? Входил дядя Ваня, большой, сердитый: «Ты чо, своячина (свояченица)? Долго тебя ждать?!» (да еще и крепкое слово добавит — для убедительности). И почти силой уводит маму — к нашей неопишуемой радости.

* * *

Кончилась война. Кончилось мое трудное детство. Я не сгушал краски. Напротив, детское восприятие, склонное извлекать всё хорошее, и мой природный оптимизм помогли закрыть глаза на многие мрачные страницы.

Закаляют ли человека трудности? Конечно, да. Я прожил жизнь — какую, не мне судить, внешне благополучную (сотрудник Российской академии, доктор наук). Но — ту усталость (физическую, психологическую), которую я ощутил в детстве, я ношу в себе всю жизнь...

С концом войны начинался в моей жизни период (тоже нелегкий), который раньше называли красивым словом — *отрочество*, а сейчас именуют громоздким словосочетанием *подростковый возраст*. Об этом периоде я писать не буду (впрочем, память моя, кажется, невольно перенесла какие-то сценки из моего отрочества в мое детство, и они «контрабандой» просочились в эти записки).

Жаль только, что за рамками моего рассказа остались замечательные люди, с которыми судьба свела меня в Воткинске уже после войны. Это, в первую очередь, мои учителя и мои школьные друзья, чья дружба греет меня всю жизнь...

* * *

Кончилась война... Мы надеялись, что главные трудности позади, радовались, что мы — не одни в мире, есть друзья и союзники, которые помогут, как помогли на войне. Помню, на улицах — американские студебеккеры, на столах — американская тушенка, на стадионе перед футбольными матчами — задорные американские песенки вроде «Приди, попробуй, дорогой, тебя я встречу кочергой...» Эйфория продолжалась недолго: «горячая» война с немцами по вине «великого Сталина» перешла в «холодную» войну с бывшими союзниками. Страну и каждого из нас ждали новые испытания...

Александр Блок — величайший русский поэт XX века, признаваясь в любви к России и предвидя великие беды и искушения, ее ожидающие, верил, однако, в ее будущее:

Пускай заманит и обманет,
Не пропадешь, не сгинешь ты,
И лишь забота опечалит
Твои прекрасные черты.

Получилось хуже. Бесовское поветрие коммунизма, пришедшее с Запада, сам Запад пережил легко, увлекся коммунизмом платонически, отделался демонстрациями да пламенными речами, а Россия, как обычно, отдалась безоглядно, полностью. И погубила свое хозяйство, свою культуру, погубила или изгнала цвет нации, выращиваемый столетиями. Но — бедствиями своими доказала всему миру гибельность «заманчивой» коммунистической идеи. Как тут не вспомнить гениальное замечание Чаадаева о том, что некоторые народы, в том числе и Россия, «существуют лишь для того, чтобы преподать великий урок миру. И, конечно, не пройдет без следа то наставление, которое суждено нам дать, но кто знает день, когда мы найдем себя среди человечества, и кто исчислит те бедствия, которые мы испытаем до свершения наших судеб?»

Казалось бы, за эти уроки, преподанные Россией миру (как и за всякие уроки), — платить полагается. Но Запад платить не собирается и свысока смотрит на простачка, попавшего в западню, умело прикрытую высокими идеями. Заварили кашу вместе, а расхлебывать пришлось одной России. Ничего, выберемся сами...

ЮНОСТЬ

Несколько мгновений счастья



Что такое счастье? Мой товарищ, Константин Бабицкий (один из тех, кто в 1968 году вышел на Красную площадь, протестуя против ввода наших войск в Чехословакию), написал стихи, где есть мудрая строка: «Счастье — это спуск со взятой высоты». И многие эпизоды, которые я хотел бы привести, соответствуют именно такому пониманию счастья.

Но счастье, разумеется, не обязательно преодоление вставших на пути препятствий, выход из сложных жизненных ситуаций. Это может быть и просвет, «прорыв» на общем фоне нелегкой жизни.

Когда говорят: «Она прожила счастливую жизнь», имеют в виду не то, о чем буду говорить я. Ясно, что она знала и беды и невзгоды

(назовите хотя бы одну жизнь без них!). Я буду говорить о другом счастье, о счастье-молнии, о том кратковременном состоянии души, когда осознаёшь всю полноту и радость жизни. И, может быть, они, эти краткие мгновения, вернее характеризуют жизнь человека и душу его, чем многомесячные и даже многолетние периоды «обычной» жизни. Хорошо сказал Юрий Казаков: «...главное в жизни — не сколько ты проживешь: тридцать, пятьдесят или восемьдесят лет, — потому что этого все равно мало <...> — а главное, сколько в жизни у каждого будет таких [счастливых мгновений]».

Для трудных послевоенных лет довольно много их у меня набралось. И дело не только в том, что жила еще в нас радость победы. В жизни каждого человека есть «звездный час», когда он, его сущность, проявляется с особой полнотой. Мой «звездный час» (вернее было бы сказать: «звездный период») — моя юность. Всё тогда удавалось: учеба шла легко, о здоровье — и не думал, сокурсники (и сокурсницы! и преподаватели!) меня любили, наука манила и властно входила в мою жизнь.

Сначала скребу по закромам детской памяти и — удивительно! — вспышек, озарений счастья не нахожу. Думаю, не потому, что у меня было трудное детство. Да, военное, да, очень трудное, но дело в другом: счастье — ощущение, видимо, взрослое, детям не свойственное. Да и старикам, пожалуй, тоже: какое уж тут счастье, если на твоих глазах ушли из жизни многие и многие твои родные, друзья, знакомые, если и сам ты, поднимаясь домой, стоишь на площадке третьего этажа и смотришь на свою дверь (вот она, чуть выше, на четвертом!), смотришь так, как альпинист смотрит на сияющую сверху покоряемую горную вершину.

* * *

Первые «вспышки счастья» озаряют пожалуй, окончание школы, старшие классы. Но одно купание было необычным и запомнилось на всю жизнь.

Прощаюсь с нашим прудом. Нет, не уезжаю никуда, но впереди осень, послезавтра — в школу, и уборка картошки и овощей в начале сентября начнется. А уж там не до купания. Ну, да и пруд с каждым

днем будет «свинцовее», неприветливее и холоднее. Я люблю воду и плыть могу — хоть плохо, но долго и далеко. Но все-таки водная стихия всегда была для меня милой, желанной, но — чужой, где-то даже чуть враждебной (любовь без взаимности!). А вот тут, в тот прощальный день в конце августа, я в первый (и, увы, в последний!) раз ощутил полное, «ихтиандровское» какое-то, единение с этой стихией. Плывешь под водой с открытыми глазами, теплая, чуть зеленоватая вода ласково гладит тебя (тоже будто прощается), а на дне — песочек, ракушки, водоросли...

* * *

Второго мая пошли мы втроем — девятиклассники Витя Богатырев, Слава Собин и я — на охоту. Вышли глухой ночью: надо успеть на утреннюю тягу. Так приятно было идти по звонкой земле (заморозки были), звездным небом любоваться.

Еще в темноте пришли на место. Водное царство: не поймешь — то ли болота, то ли озера, то ли «вешние воды». А вот птиц что-то не видно... Но — вон что-то темненькое в воде плещется. Славка Собин стреляет. Меткий был выстрел и очень эффектный: в полной темноте — гром, ослепительное пламя. Только вот достать этого чирка мы не смогли: не плыть же за ним по холодной воде! А потом, переходя по упавшему дереву через какую-то протоку, ухнул я по грудь в эту самую воду! Пришлось бежать домой, мокрому, по холодку...

Ну а счастье-то, счастье, где оно? Оно потом ощутилось, дома. Но — не было бы его без этих ночных блужданий по топям и хлябям и без промозглой сырости на охоте... Лежу под двумя одеялами, с неподдельным интересом прослеживаю все стадии приготовления мамой пирожков и — вот оно, соприкосновение низкой жизни и поэзии! — пытаюсь в то же время в «звонких стихах» воспеть наш поход.

Потом, утомленный муками творчества (и ожиданием пирожков), открываю «Детство Никиты» Алексея Толстого и — отшвыриваю свои жалкие вирши и наслаждаюсь. Сейчас у нас к Алексею Толстому относятся крайне сдержанно. Но ведь нельзя не признать, что такого

чистого и в то же время яркого, сочного русского языка, как у него, не было ни у кого из советских писателей.

В чем только не упрекают Алексея Толстого — и в конформизме, и в отсутствии глубины. Но в «Детстве Никиты» — какая тоска по утраченной родине, скорбь по погибшей России! И какая при этом глубоко запятанная, тютчевская «божественная стыдливость страданья»!..

* * *

Начало июня, поздний вечер. Завтра у кого-то из нас выпускной экзамен, у кого-то консультация, но мы всё кружим по пруду на лодке Володи Калинина. Песни поем, звездами и луной любуемся (полнолуние было) и болтаем, болтаем, болтаем — ни о чем! Давно пора домой! Но причалив к берегу, как-то сразу осознаём, что нельзя разойтись, не окропив друг друга водою прудовою. Бегаем к пруду, набираем воды (девочки — в туфли, мальчики — в ботинки) и, визжа от счастья, от полноты жизни, щедро кропим друг друга...

Придя домой, перелезаю через забор, чтобы не будить маму, карабкаюсь на террасу, где обычно сплю. Но мама, конечно, не спит, волнуется, выдаёт мне пару «ласковых» слов...

* * *

Школьный выпускной вечер — сверхскромный, но гордо именованный *банкетом*. Сам банкет как-то не запомнился. Запомнилось, что было до и после него.

На банкет мы пригласили девочек — выпускниц женской школы, поэтому особенно старательно к нему готовились. Как водится, я, «самый отдаленный» от школы, выхожу первым (в ботинках военного времени, но тщательно начищенных), захожу за Витей Богатыревым. Конечно, ботинки успели запылиться, и мы, стерев с них пыль, следуем дальше — к Володе Калинину. Поорудовав в очередной раз сапожными щетками, отправляемся, уже втроем, к Юре Крылову, который живет ближе всех к школе. И, конечно, снова чистка обуви...

А после банкета мы с девчонками прошли в центр города, к пруду. Светало, на воде сиреневые блики. И в послебанкетной тишине мы так остро ощутили счастье, радость вступления в новую, взрослую жизнь. И она нас тогда совсем не пугала...

А потом мы, мальчишки, решили искупаться. Выходим из воды, подрагивая от холода, «пупырчатые», а одежды-то нашей — нет! Невольно вспомнились популярные в послевоенные годы стишки:

Как хорошо купаться летом,
Коль не сопрут штанов при этом...

Но тут слышим, как в кустах стрекочут наши девчонки, посмеиваясь своей шутке (которая показалась нам тогда не такой уж остроумной)...

* * *

После окончания школы я и еще трое моих товарищей — Витя Богатырев, Володя Калинин и Володя Микрюков — поступили в престижный Казанский авиационный институт. Через несколько месяцев я его бросил: мой внутренний, явно «филологический» голос настойчиво бубнил, что я совершил ошибку, поступив в КАИ. (Что же он раньше-то молчал, голос этот?!)

Но до этого, в начале осени, отправились мы вечером на Волгу, на пристань, разгружать баржи. Нас, простачков-студентов, бросили на цемент. Всю ночь мы, при свете прожекторов, бросаем на конвейерную ленту 50-килограммовые бумажные мешки цемента, а рано утром, сбив с себя и со своей одежды цементную пыль, идем по просыпающейся Казани, мимо Казанского кремля. Поднимается солнце, приятная усталость во всем теле, сознание, что выдержали трудную бессонную ночь, что похрустывают в кармане 22 рубля заработанных денег. Вот счастье! Правда, когда мы вернулись в общежитие и стали мыться и чистить одежду (работали, конечно, в той же одежде, в которой ходили на лекции), обнаружили, что от соприкосновения с водой и волосы наши, и брюки —

зацементировались! Брюки-то стоили, наверно, побольше двадцати двух рублей! Ей-богу, не помню, как мы от этой цементной пыли избавились.

* * *

Изменив самолетостроению, я поступил на филологическое отделение Пермского (тогда Молотовского) университета.

Описывать Пермский университет, занятия, экзамены-зачеты, любимых и нелюбимых преподавателей, встречи-расставания — не буду, это примерно одинаково в Перми, в Москве, во Владивостоке, и вряд ли кому-то интересно. Описание студенческого быта более интересно, но и это в мою задачу не входило (хотя некоторое представление о жизни студентов в послевоенные годы можно, наверно, получить и из моих кратких заметок). Моя цель, повторяю, — описать озарения счастья и их капризы, появление их иногда в самых, казалось бы, «неподходящих» условиях.

Конкурс на наше отделение был довольно большой — шесть человек на место. Естественно, я был счастлив, получив на родине, в Воткинске, куда я уехал после сдачи вступительных экзаменов, телеграмму о зачислении. Помню, скатился под ноги почтальона с багажа сена, которое мы тогда разгружали во дворе, схватил листок бумаги: «ЗАЧИСЛЕНА ФИЛОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЯ 1 СЕНТЯБРЯ».

31 августа (1950 года) приезжаю на станцию Пермь-2. Университет рядом с железнодорожной станцией, но ни о каком общежитии в это время, поздним вечером, конечно, и речи быть не могло. Устраиваюсь в скверике, поставив рядом со скамейкой свой чемодан. Удивительно — за всю ночь его никто стащить не удосужился! Впрочем, это нелегко было сделать: мама насовала мне туда, наверно, месячный запас провизии. Просидев-пролежав-продрожав ночь на жесткой скамейке, солнечным утром иду на занятия в Университет.

А вот и он — красивое большое здание, говорят, бывшая ночлежка, построенная уральским купцом-благотворителем Н. В. Мешковым. Перед Университетом — цветы, клумбы, острый запах резины. «Подумаешь!» — скажете вы. Но ведь это 50-й год, и я

из Воткинска, где цветы — роскошь, где в огородах и даже на улицах, перед домами, сажали в военные и послевоенные годы только что-то съедобное! И чувство счастья охватывает меня, когда я, сдав в раздевалке свой фанерный неподъемный чемодан, иду на первую лекцию в Горьковский зал — один из двух больших, симметрично расположенных на верхнем, пятом этаже красивых залов старого здания Университета. Я — студент.

* * *

Я — студент. Поселили нас в деревянном бараке, где жили раньше немецкие военнопленные (кажется, они же его и строили). Нас — десять человек в комнате, филологи и историки первого курса. На каждого — кровать и тумбочка, она же письменный стол. В конце барака — титан, плита, умывальники (по утрам туда — очереди). Дощатые туалеты — во дворе, на «свежем воздухе»; водяного отопления нет — топили мы сами каменным углем, и угольная копоть покрывала простыни и подушки. И мы — были счастливы.

Вот мы всей ватагой, десять человек, идем в книжный магазин в центре Перми, выбираем репродукции с известных картин: историки — на исторические темы («Запорожцы пишут письмо турецкому султану», «Переход Суворова через Альпы» и т. д.), филологи (я и мой друг Витя Шмаков) — «Март» Левитана, что-то еще. А потом «прикнопливаем» эти грошовые репродукции над своими кроватями, подметаем комнату, топим печь.

Дальше студенческий ужин (скудный: хлеб с маргарином, винегрет, но — чего греха таить — с «немножечком» водки). Болтаем. Я небрежно киваю на репродуктор, по которому передают «Вальс цветов» Чайковского: «Земляк мой! Мы с ним в Воткинске родились! Только он-то жил в Воткинске всего 8 лет, а я — целых 18, законченное среднее образование получил!»

Наказание за мое хвастовство последовало незамедлительно!.. Садимся играть в домино. Мы с Витей Шмаковым побеждаем одних противников, других... И вдруг (позор!) получаем от очередных противников *генерал-козла!*

Что такое *большой шлем* в картах — знают, наверное, многие (в основном, по рассказу Леонида Андреева). Так вот, генерал-козел в домино встречается еще реже (за всю мою жизнь — всего два раза!). Это когда игрок выигрывает партию, выставив на оба конца длинной доминошной змеи сразу две последних фишки — «пусто-пусто» и «шесть-шесть»! Посрамленные противники получают при этом «высокое» звание *генерал-козлов*. Неудивительно, что заглянувший в нашу комнату старшекурсник, университетский пиит Четвериков, тут же уселся за тумбочку (стол был занят) и в звонких стихах увековечил это событие:

Начинаем песнь о былых годах,
О злокозненных генерал-козлах.
Начинаем мы эти притчины,
Не боясь ничьей зуботычины...
 По столу стучат кости черные.
 За столом бойцы свехупорные...

и т. д.

Отвлекусь. Этот Четвериков, маленький, тихонький, был в Университете фигурой заметной: работал в студенческом журнале «Перец», писал сатирические стихи и басни. Помню поучительную басню про студентку, которая сбежала с лекции, но возле деканата была схвачена и сурово наказана:

...Мораль сей басни всем ясна:
Сама студентка виновата —
Не бегай мимо деканата!

Перу Четверикова принадлежала знаменитая, ходившая в списках «Конституционная драма». Она основывалась на подлинном событии, взволновавшем не только Университет, но и райком партии, и даже «органы». Дело в том, что Четвериков и еще три студента-юриста из 17-й комнаты общежития составили (в 1949 году?) шутливую «Конституцию 17-й комнаты»:

1. В 17-й комнате объявляется свобода слова, печати, шествий и демонстраций.

2. Девятое число каждого месяца объявляется нерабочим днем.

3. Любое лицо женского пола, вступающее на территорию комнаты, поступает в распоряжение члена члена комнаты... и т. д. и т. п.

Эта полудетская шалость была расценена партийным руководством как пародия на Сталинскую конституцию, и виновники были наказаны (по тем временам — не очень даже сурово). Боюсь соврать (эта история произошла еще до моего поступления в Университет) — кажется, часть была переведена с 3-го на 2-й или даже 1-й курс, а часть разжалована из юристов в филологи (видимо, юрист, как чекист, должен иметь «горячее сердце и чистые руки», а для филолога это необязательно). Вот этому событию и была посвящена четвериковская «Конституционная драма»:

Мрачно гудит вечевой колокол. Студенты сбегаются на Лобное место — в Актовый зал Университета. Отдельной колонной идут наши прославленные спортсмены: Петр Семенов (первая ракетка Университета), Василий Хрулёв (первая перчатка Университета в полусреднем весе), Александр) Чистин (первая бутылка Университета). Юродивый Никитка сын Митрофанов просит копейчку на погребение жильцов 17-й комнаты.

Далее гневная речь прокурора:

Вас развратили Иванов и Дремин,
И вместе с ними тать Четвериков!

и т. д.

Ну и заодно упомяну уж о другой шалости, которой власти придали политическую окраску. Во время выборов почти все мы работали агитаторами: ходили по домам района, беседовали с избирателями, составляли списки избирателей и вывешивали громадные простыни — эти списки, отпечатанные на машинке, — на нашем избирательном участке. И мой товарищ Вилька (Вилен) К. включил в списки избирателей... Остапа Бендера! — *Бендер Остап Измаилович, 1904 г. рожд.* Был скандал («Ты подумай — какое имя ты

носишь: *Вилен* — Владимир Ильич Ленин! И такая безответственность!»). Вилька, слава Богу, отделался легким испугом.

Вообще, партийное и комсомольское руководство бдели на всю катушку. Помню, мы, филологи 2-го курса, начали издавать рукописный литературный журнал. Честно говоря, довольно серенький был журналчик, наивный и невинный. Кто-то рассказик «чюйствительный» тиснул, кто-то карикатуру на товарища нарисовал, мой друг Витя Шмаков стихи написал: *Радуйтесь, товарищи, со мною: / Я вчера закончил первый курс.* И вот эти несколько листочков с чернильными каракулями и смешными рисунками не на шутку встревожили партбюро (очевидно, информированное кем-то из наших же товарищей!). Нам сделали выговор «за издание несанкционированного журнала», а крамольный журнал изъяли.

Впрочем, и мы сами, студенты, проявляли морально-политическую бдительность. Помню, как Рита К., студентка-«филологиня», была уличена в интимных отношениях со студентом юридического факультета. Сокурсники потребовали, чтобы она призналась в «преступной связи» своим родителям.

Но даже этого им показалось мало. Персональное дело о «моральном разложении Маргариты К.» рассматривалось на общем комсомольском собрании историко-филологического факультета Молотовского университета (1953 или 1954 год)!

Хорошо помню это собрание, до смешного напоминающее собрание, воспетое в известной песне Александра Галича. Рита признавала свою вину («В моральном, говорю, моем облике есть тлетворное влияние Запада...»). Зал интересовался деталями («А из зала мне: давай все подробности!»). Так, одна студентка спросила на собрании у Риты: «Скажи, а что ты испытывала *после этого?*», и Рита ответила: «Нечто вроде презрения». Риту приговорили к «высшей мере наказания» — исключению из славных рядов Ленинского комсомола.

Даже комсомольским и партийным властям это показалось перехлестом: бюро райкома комсомола не утвердило решение комсомольского собрания, кто-то из членов бюро сказал будто бы: «Ну, уж не будем все-таки из Университета детский сад устраивать!» Рита отделалась выговором по комсомольской линии.

Но — давно пора вернуться от высокой морали и политики в нашу студенческую комнату.

Вот мы садимся пить чай, поглядывая на нашу преобразившуюся комнату, чистую, богато украшенную замечательными репродукциями (по 25 коп. штука)... Был ли так счастлив какой-нибудь вельможа, обозревающий свои новые позлащенные палаты?

* * *

Вот я писал, что счастье — это краткие мгновения. Неверно это: помню целые сутки счастья.

В середине сентября был в нашем университете праздничный вечер: мы, первокурсники, встречались со студентами-выпускниками, которые подготовили для нас концерт. И праздничное настроение охватило уже днем, на занятиях. Вот «француженка» Тамара Александровна отпускает нас пораньше с занятий («Вам надо подготовиться к такому торжественному событию»), вот мы заходим за книгами в университетскую библиотеку (как интересно: «Русский фольклор», «Античная литература» Радцига!). Смешат лучи заходящего солнца, которые проникают через окна-витражи и окрашивают в разные цвета наши лица, как лица клоунов.

А как смешно, и мило, и уютно, когда в зале не хватает мест, и мы с девушкой, в которую я влюблен давно, уже несколько дней, по очереди сидим на коленях друг у друга! И как мил концерт, который подготовили для нас студенты-выпускники!

И это ощущение счастья я испытываю и засыпая, и во сне, и проснувшись утром.

А потом идем в столовую в осенний, золотой день, и остро пахнет землей и картофельной ботвой (это ведь послевоенный 50-й год, и около наших барачных общежитий окрестные старожилы всё засадили картошкой и теперь ее копают).

* * *

Учился я легко, был первым и в школе, и в университетской нашей группе, но вот в общении со сверстниками сказались, видимо, староверская замкнутость и скованность. Поэтому я, «блестящий

студент», именной стипендиат, дружил со скромным, тихим сокурсником Виктором Шмаковым. Ведь что такое друг? Это человек, который понимает тебя и принимает тебя целиком, как ты есть, с которым ты чувствуешь себя совершенно свободно. Объединяло нас и то, что оба мы — из простых, полукрестьянских семей, и то, что в общежитии жили в одной комнате, но главное — любовь к литературе, к стихам.

Спросите: при чем здесь счастье? А вот и оно. Солнечное, но холодное октябрьское утро. Идем по улицам Перми на камскую пристань, поискать работы. Вчера не ужинали, сегодня не завтракали — денег нет, а до стипендии еще целая неделя. И — острое чувство счастья: смеемся, читаем стихи, напеваем марш Черномора из «Руслана и Людмилы».

Стихи, естественно, были частью нашей жизни.

Вспоминаю в этой связи забавный эпизод. Начало — как в песне:

В городском саду играет
Духовой оркестр.
На скамейке, где сидишь ты.
Нет свободных мест...

Но рядом с *ней* сидит Витя Шмаков и после шутливой торговли уступает мне, счастливому, свое место — за сборник стихов Аркадия Кулешова, который я «достал» накануне. Нам нравился этот белорусский поэт за искренность, созвучность с нашими настроениями, например, теми, которые испытывали и мы при возвращении на каникулах на родину:

Я вернулся в тот край, что давно меня звал,
Где уже восемнадцать я лет не бывал.
Где родился, где рос, где когда-то бродил
По траве по речной, по тропе по лесной...

И далее описание белорусской пирушки, мало отличающейся от нашей, русской:

Если ж выпьешь еще, как обычай велит,
То поймешь ты и впрямь, что земля не стоит:
Закачает тебя от куста да к кусту,
Словно в шторм моряка от борта да к борту.
Закачает тебя, станет палубой луг,
Ты за кочку возьмешься — спасательный круг.
.....
Ты к любимой спешишь — что тебе океан?
Что тебе ураганы? — они не страшны!..
...Рано утром нашли меня возле копны...

* * *

Обычная ситуация (сколько их было!): мы с Витей не завтракали, не обедали, да и поужинаем, видимо, кипятком. И вдруг известие: с приходящим поездом Вите послан мешок картошки! Везем на санках (дело было зимой) этот, увы, не такой уж большой мешок, тут же варим, просто с солью, без масла, конечно. Счастливые, сытые, садимся играть в карты. Любимые игры — *кинг* и *тысяча* (упрощенные варианты преферанса). Некоторые, особенно бойкий веселый башкир Борька Кадиков, и смухлевать, и в чужие карты заглянуть были не прочь (помните совет дяди Гиляя в книге «Москва и москвичи»? — *После раздачи карт первым делом загляни в чужие карты, ибо свои ты всегда посмотришь успеешь*).

Поскольку уж заговорил о питании, скажу, что было оно в студенческие мои годы (1950–1955) сверхскудным: дома я даже в годы войны питался лучше. Обычно мы, как и многие другие «общежитские» студенты, жили так называемой «коммуной». Объединялись, как правило, с какой-нибудь комнатой девочек — оно и веселее, и повкуснее все-таки. Сдавали в общую кассу по 150 руб. в месяц (стипендия — 220 руб., на старших курсах — немного больше), очередного кассира назначали. Однажды растратил наш кассир общественные деньги, оставив коммуны без денег почти на две недели. Нет, не били, только пожурили: наверно, очень уж ему зачем-то деньги были нужны...

Вот обычное наше меню: завтрак — компот из сухофруктов, иногда макароны или картошка; обед — суп, всегда без мяса (слишком дорого мясо, да и не достанешь его); второго — не упомяну, не было его, по-моему.

И почему-то особенно трепетно ждали ужина. Лежишь на кровати, читаешь учебник или книгу какую-то и с нетерпением ждешь стука в дверь: это девчонки зовут на ужин. А ужин — большая, поллитровая банка компота из сухофруктов (на человека) и хлеб (в неограниченном количестве).

Придя ночью голодным с какого-нибудь свидания, пошарить по тумбочкам спящих товарищей не считалось таким уж страшным грехом. Помню, по запаху отыскивали мы в тумбочке Борьки Кадикова недостаточно хорошо запрятанную селедку. Съели. Аккуратно съели, не повредив при этом голову, хвост, косточки.

А потом повесили на веревочке бережно сохраненный скелетик селедки над самым носом ее владельца. Утром мы видели, как Боря нежится в постели, пальцем щелкает селедку по носу, заставляя ее раскачиваться на веревочке, разговаривает с нею: «Ишь, как они, сволочи, нас с тобой обглодали чисто!»

А вот уж дома, на студенческих каникулах — мы отъедались.

* * *

Вот я приехал в Воткинск на зимние каникулы. Уже в сумерки отправляемся с братьями Сашей и Герой (и младшая сестра Алла с нами) на лыжную прогулку. Морозец солидный — градусов 20, но это нас не смущает. И так хорошо скользить на лыжах по заснеженным полянам («В лунном сиянии снег серебрится...»), а потом вернуться в родной наш дом, погреться у печки-голландки.

А на печке уж и чугунок кипит (тоже с детства памятный), и мама варит пельмени, мясные! И — «бьют старинные часы». В довоенные и военные, да и в послевоенные годы люди у нас не очень-то ценили старые вещи, и мама, лишенная возможности приобрести модные современные часы-кукушку, выменяла на картошку — что бы вы думали? — старинные французские Le roi de Paris!

А потом мама нам, разгоряченным, но и озябшим немножко, дает по рюмке водки и по доброй (о-очень доброй!) тарелке пельменей. И мы болтаем, и вспоминаем, вспоминаем... А как рассмешил заглянувший к нам шестилетний двоюродный братишка Вова Савельев! Попотчевали его пельменями, и он, уходя, сказал тоном хозяйственного мужичка: «Пойти, что ли, тоже пельмени из Васьки сделать...» (другого мяса, кроме кота Васьки, в доме не было).

* * *

На третьем курсе, осенью, получаю телеграмму: «САШУ ПРИЗЫВАЮТ АРМИЮ ПРИЕЗЖАЙ». Отпросился в деканате на неделю и поехал в Воткинск, брата провожать. Армия тогда была совсем не то и не такая, как сейчас. «Дедовщина» — даже слова такого не было. Трудно там было, но ребята-провинциалы возвращались окрепшими, возмужавшими, более уверенными в себе, повидавшими мир. Даже профессию новую иногда получали, чаще всего — шофер. И все-таки тяжело было брату уезжать на целых три года, не доучившись в техникуме (Сашу призвали с последнего, IV курса Сарапульского лесомеханического техникума).

Дома устроили проводы — совершенно в традиционном деревенском духе. Пили, плакали, пели. Конечно, не обошлось и без «Проводов» Демьяна Бедного, соответствующим образом переделанных:

Ой, куда же ты, Сашок,
Ой, куда ты?
Не ходил бы ты, Сашок,
Во солдаты...

Подвыпившие тетки и дядья совали призывнику скомканные десятирублевки, с плачем провожали нас за ворота. И поехали мы втроем (Саша, мама, я) из Воткинска в Ижевск, где размещался сборный пункт.

Поселились в однокомнатной квартирке у дяди Саши, который жил в Ижевске, и каждое утро являлись на сборный пункт. Интересное зрелище являл собой этот пункт! По большому, огороженному проволокой пустырю мыкались с заплечными мешками понурые призывники; каждое утро приезжали представители разных воинских частей и придирчиво отбирали для себя солдат. Только что в зубы не смотрели! А Сашу всё никто не брал, видимо, потому, что был он маленький, тихонький, не такой бравый, как другие, — хотя на самом деле был покрепче многих статных молодцов.

Наконец на четвертый или пятый день начальник пункта сказал нам: «Ладно, поезжайте домой, доучивайтесь, а там посмотрим».

Как мы были счастливы, когда забрались в гремучую, дырявую, провонявшую бензином жестянку — автобус «Ижевск-Воткинск»! Болтали, жевали булочки, которые гордо назывались тогда «французские».

А дома по старой, еще детской привычке забрались мы с братьями все трое на одну кровать, и я подробно пересказывал им «Крестonosцев» Сенкевича. А потом, в темноте уже, с удовольствием слушали радиопередачу «Свадьба с приданым» — такой непритязательный, но веселый, с юмором, советский лубок.

Как же удивились тетки, встретив на следующее утро на улице новобранца, которого они несколько дней назад проводили в армию: «Ты это что, дезертировал, что ли?!»

А вечером — снова праздник, но уже совсем с другим настроением и с другими песнями.

* * *

На революционные октябрьские (они же — ноябрьские) праздники поехали мы с Витей Шмаковым к нему на родину — на север Удмуртии, на станцию Балезино. Его мать, милая, ласковая такая, обогрела, накормила изголодавшихся студентов, а утром мы пошли на охоту.

Красота — неопиcуемая: последние золотые листья на деревьях, солнце отражается в лужах, подернутых ледком.

Было у нас одно старенькое ружьишко на двоих, но мы чувствовали себя опытными охотниками. А вот и дичь — лиса бежит по опушке, и недалеко! Прицеливаюсь и чувствую — не промахнусь (занимался в стрелковом кружке). А вместо выстрела — сухой щелчок! Снова стреляю — то же самое! А лиса уж в кустах скрылась. Подбегает Витя. С досадой шваркаю прикладом ружья о мерзлую землю, а тут и выстрел! К счастью, никто из нас не пострадал.

А дома уже банька нас ждала, и ужин, по тем временам роскошный.

Конечно, не очень-то хотелось возвращаться опять в Пермь, на скудные студенческие харчи. Да и началось это возвращение не совсем удачно: взяли меня в заложники — в первый и, надеюсь, последний раз в жизни.

Было так. Вернувшись довольно рано, мы с Витей слонялись по пустому общежитию — никого из друзей еще нет. И вдруг встречаем Сашку Чистина. Саша был не дурак выпить, носил высокое звание «первой бутылки университета». Он где-то подрабатывал, и деньги у него водились, иногда и друзей (щедрая душа) угощал. Правда, однажды, незадолго перед праздниками, он вошел в нашу комнату и торжественно заявил: «Всё, ребята, бросаю пить!» — «Как! Совсем?!» — «Совсем. Вот, читайте». Бросает перед нами лист бумаги. Читаем:

«Я, студент 4-го курса Александр Чистин, в здравом уме и трезвой памяти доведу до сведения всех заинтересованных лиц, что с 20-го числа текущего месяца текущего года я полностью прекращаю употребление спиртных напитков, за исключением следующих строго определенных случаев:

1. Дни рождения мои и моих друзей.
2. Дни свадеб мои и моих друзей.
3. Дни похорон мои и моих друзей.
4. Революционные праздники.
5. Дни черной меланхолии».

И вот мы подходим к Саше: «Саша, мы знаем — ты теперь человек непьющий, но ведь сегодня революционный праздник! Не грех посидеть, праздник отметить!» — «Без вопросов! Пошли в кафе!»

Съели по котлетке, выпили винца, поболтали. Подошла официантка, с лицом, по выражению Пелевина, строгим, как у судьбы. Мы, все трое, сидим, безмятежно откинувшись в креслах, будто это

нас вовсе не касается. На нетерпеливо-вопросительный взгляд девушки мы, тоже взглядом и движением бровей, указываем на Сашу, а он царственным жестом указывает на нас: «Ведь это вы меня пригласили!» Клятвенные обещания расплатиться завтра, неотразимые улыбки, комплименты, риторические вопросы («Что у вас в груди — сердце или камень?») не смягчили сердце девушки (видимо, там все-таки размещался камень). Пришлось ребятам, Саше и Вите, бегать по общежитию и занимать деньги, оставив меня в заложниках. Правда, довольно быстро удалось собрать за меня выкуп.

* * *

На Новый год университет получил разрешение на рубку елок в Черняевском лесу. Мы их вырубали, погрузили на машину, отвезли к университету, а одну взяли в общежитие, в свою комнату. Игрушек не было, делать их самим неохота, да и некогда — зачеты! Украсили елку чем Бог послал. А послал он мыльницы, футляры зубных щеток, крышки кастрюль. (Прошу прощения у Ильфа-Петрова за плагиат, но ведь и они сами тоже иногда у Аверченки слегка... ну, скажем, заимствовали. К тому же эта шутка про Господню щедрость принадлежит не им, а Сухово-Кобылину!) Сашка Чистин даже утюг на елку приспособил!

Елка была довольно большая, ветки протянулись от стены до стены. Мы уснули счастливые, как в лесу, под нависшими над нами еловыми лапами. Но... тут и обратная сторона медали. Она стала приоткрываться нам уже ночью, а утром открылась полностью: наши постели — простыни, одеяла, подушки — были обильно присыпаны колючей еловой хвоей...

* * *

Завтра экзамен, у трудного преподавателя, и трудный — «Русская литература первой трети XIX века».

Утомленные чтением текстов, штудированием громадных статей Белинского, идем в кино, на последний сеанс, на какую-то пырьевскую

комедию, про трактористов и их «стальных коней». И как же нам понравился этот фильм! Даже песня «Наша поступь тверда, и врагу никогда / Не гулять по республикам нашим!» только кольнула чуть-чуть (ведь враг крепко погулял-таки по республикам нашим!), но не испортила общего впечатления. Уверен: в трудные периоды кино может помочь людям не нагнетанием ужасов, не тыканием зрителя носом в дерьмо жизни, а оптимизмом, верой в будущее, а главное — верой в человека. Поэтому в послевоенные годы нужны были «Кубанские казаки».

После кино пошли в общежитие. Мокрый снег лепил в лицо, но мы были счастливы и снова и снова повторяли почему-то попавшуюся на язык старую песню:

Не лукавьте, не лукавьте, ваша песня не нова.
Ах, оставьте, ах, оставьте: всё слова, слова, слова...

Тень завтрашнего экзамена, конечно, висела над нами, но не очень пугала. А напрасно... Обещал я не писать об экзаменах-зачетах, но об этом экзамене нельзя не написать.

Экзаменатор — заведующая кафедрой русской литературы Пермского университета Руденко (имя-отчество не помню) — личность исключительно интересная. Страстно влюбленная в русскую литературу, она обладала феноменальной памятью и на лекциях читала на память стихи поэтов XIX века, целые главы из «Евгения Онегина». Вот 50 лет прошло, а помню, как из продырявленного кармана ее старой кофты свешиваются, позвякивают какие-то ключи, а она, не замечая этого, вдохновенно читает — целиком, по памяти, большую балладу «Садко» А. К. Толстого.

Вот Садко тоскует в подводных хоромах Водяного царя по земле, где сейчас «во свежем, в зеленом лесу молодом березой душистою пахнет»; он готов отдать все морские сокровища (и прекрасных, но колючих, как ерши, дочек Водяного царя в придачу) «за крик перепелки во ржи, за скрип новгородской телеги».

Водяной царь его вразумляет:

Садко, мое чадо, городишь ты вздор,
Земля нестерпима от зною;
Я в этом сошлюся на целый мой двор, —
Всегда он согласен со мною.

Даже интонации помню...

И вся жизнь нашей преподавательницы была в этом. Одинокая, жила в общежитии. В комнате — книги, книги и железная кровать, застланная серым солдатским сукном. И вот этому человеку мы завтра будем сдавать экзамен...

А вот и результаты: все девочки, весь курс получает тройки и двойки (то есть остается без стипендии!). Я получаю пять, Витя Шмаков — четыре. Не потому, что мы с ним особые знатоки и тонкие ценители русской литературы первой трети XIX века, а просто потому, что — мужики (поговаривали, что Руденко — женоненавистница).

Дело дошло до ректора Университета, и было разрешено пересдать экзамен (сейчас пересдают экзамены чуть ли не по десять раз, а тогда пересдача была величайшей редкостью). И пересдачу девочки выдержали вполне успешно.

С годами странности нашего преподавателя всё усиливались — до того, что она написала донос, и на кого?! — на зав. кафедрой марксизма-ленинизма, декана факультета! — объявляя его агентом англо-американского империализма! Было это уже после моего окончания Университета, деталей не знаю, но говорили, что все кончилось для нашего преподавателя трагически... Грустно, она была по-настоящему предана науке и много нам дала, учила трепетно-любковному отношению к русской литературе.

* * *

Приезжаю в Воткинск на зимние каникулы, и, конечно, сразу к друзьям. Одни в Казани учатся, другие в Перми, третьи в Ленинграде, но в каникулы — мы все в Воткинске.

Собираемся у нашей заводилы — Нины Орловой. У нее маленький, но очень приятный голос, и на гитаре она неплохо играет.

Попискивает самовар (настоящий, на углях!). Болтаем, поем русские романсы, песни — военные и послевоенные, душевные такие.

Темнеет. Нина включает транзисторный приемник. В те годы это была роскошь. До чего уютно было сидеть в полумраке, чувствуя рядом старых друзей, таких молодых, смотреть на освещенный экранчик простенького приемника и сквозь его шипенье и жалобный писк (ей-богу, они только увеличивали удовольствие!) слушать какую-то французскую оперетку («Фиалка Монмартра»)?! И так милы были нехитрый сюжет и немудрящий юмор! Вот парижские студенты (такие же нищие, как мы!) уговаривают хозяйку гостиницы отсрочить плату за жилье, а она флегматично отказывается — одними и теми же словами:

— *Дорогая Мадлен! Обещаем непременно заплатить на будущей неделе!*

— *Обещали уж... Много раз...*

— *Мадлен, вы такая добрая! Мы так вас любим!*

— *Любили уж... Много раз...*

— *Милая Мадлен! Невозможно удержаться, чтобы не поцеловать вас!*

— *Целовали уж... Много раз...*

Вот сейчас стоят перед глазами счастливые лица моих друзей, освещаемые лишь угольками гаснущего самовара и экранчиком приемника, вспоминается смех, песни, и — врываются, не отогнать, более поздние воспоминания... Какая злая ирония судьбы! Именно она, неугомонная Нинка Орлова, наша веселая певунья, ушла из жизни первой, очень рано, от сердечного приступа. А из ребят — самый крепкий из нас, Володя Микрюков. Да что там крепкий — это силач был! Как у них, силачей, принято, двухпудовой гирей крестился. Но — ему еще и тридцати не исполнилось, когда его рано утром нашли (задушенного!) на улице, где жила девушка, в которую он был влюблен. Говорят, она была связана с уголовной средой...

Извините, отвлекся, я ведь о счастье пишу...

* * *

Летом, после диалектологической экспедиции, приезжаю домой, в Воткинск.

Мама и сестра Алла вытаскивают скромные послевоенные запасы, усаживают за стол, угощают, расспрашивают и рассказывают. Так тепло и домашне! Но тут мама проговорила, что вот и Вовка Калинин приехал. «Как? Вовка Калинин?! Надо поздороваться!» — «Куда ты?! Да ночь на дворе!»

Бегу по темному ночному Воткинску. У Калининых тоже света в окнах нет, но я барабаню в ворота и торжественно возвещаю сонной Хионии Аркадьевне, матери Володи: «Да это я, Вовка Санников!» О каком неудовольствии, обиде за прерванный сон могла идти речь?! Мои друзья и наши родители были одна семья, и ни разу за трудные военные и послевоенные годы не было ощущения, что ты пришел некстати, и всегда для тебя находился кусок.

После объятий и поцелуев Хиония Аркадьевна говорит, что Вовка спит, в сарае. «Я по лесенке приставной лез на всклокоченный сеновал», бесцеремонно будил «эту сонную морду», и мы, лежа на сене, до зари «дышим звезд млечных трухой» и говорим, говорим, говорим... О чем? Три животрепещущих темы: 1) А вот у нас в Казани... 2) А вот у нас в Перми... 3) А помнишь...

* * *

Летние каникулы. Мы чуть не устроили большой лесной пожар!

Ночевали у костра на берегу пруда, утром на двух лодках отчалили от берега. Оглянулись, а на оставленном мысу — огонь! Быстрее назад — тушить. Но когда вернулись, берег был в огне, горели сухая трава, шишки, хвоя. Огонь подбирался к деревьям. Стали тушить, используя наш «пожарный инвентарь» — ведро, кастрюля, два котелка, несколько кружек. Смешные и жалкие потуги! Пожар все больше, уже горит кора на деревьях. Тогда мы стали мочить в воде куртки, ватники и сбивать ими пламя.

С большим трудом пожар потушили, но долго не решались плыть домой — вдруг опять загорится! Да и очень уж приятно было купаться и загорать на теплом, ласковом (а только что таком страшном!) берегу.

Снова летние каникулы. Мы с мамой приехали к деду в деревню. Какой-то деревенский праздник. Всё мило, просто, традиционно — так, как в недалеком моем детстве. Устав от деревенской бражки, песен, плясок, мы с мамой, взяв ведро, идем за водой на «ключик», на окраину деревни. Запах душистых трав, звезды, где-то далекие песни, гармошка. Месяц светит, отражается в холодной воде, звонко падающей в цинковое ведро. И снова и снова вспоминаются есенинские строчки:

За окном гармоника и сиянье месяца.
Только знаю — милая никогда не встретится.

Грустные стихи, но — странно! — от них как-то еще светлее на душе. Впереди вся жизнь, и милая, конечно же, встретится!

В студенческие годы был Есенин любимым нашим поэтом. Как-то особенно хорошо ложился он на бесхитростные души мальчишек и девчонок, переживших голодное военное детство и ощутивших простую человеческую радость: жить, учиться, работать, любить на этой бедной, но такой милой и родной земле.

Мой друг Витя Шмаков даже курсовую писал по творчеству Есенина и — провалился на защите: «Что у нас — мало хороших советских поэтов?! Почему вы взяли для курсовой кулацкого поэта с сомнительной биографией?!»

Интересно, что и меня на заседании пермского научного студенческого общества пожурили за доклад «Язык и стиль романа Достоевского „Идиот“», — используя в точности ту же аргументацию: «Разве мало прогрессивных русских писателей-классиков? Почему вы выбрали именно Достоевского — реакционера, написавшего „Бесов“, этот пасквиль на революционеров и революцию?!» (Было это в 1953 году.)

Лошадка цокает копытами по асфальтированной дорожке между университетскими корпусами. Мы с Витей Шмаковым сидим на телеге на куче песка, щуримся от солнышка, болтаем, летние каникулы вспоминаем. Кирпичей мы уже навезли, цемента тоже. Мы счастливы: такой выгодный подряд — заложить окно в геологическом корпусе!

И вот это кратковременное ощущение счастья — от близости друга, от золотой осени, от редкой удачи — сохранилось на всю жизнь... И дороже оно всех последующих сложностей: ведь окно-то громадное, и главное — не прямоугольное, а полукруглой формы! Даже для опытных каменщиков заложить его, наверно, не так-то просто, а мы первый раз в жизни работаем каменщиками! Товарищи наши, проходя мимо, опасливо поглядывают на нашу кладку: «Что-то криво у вас получается! А не завалится?» И только прораб одобрил нашу работу: «Ничего! Сойдет!»

Подрабатывать приходилось постоянно. Оно и понятно. Ну, билеты на трамвай ни один уважающий себя студент не покупал, на поезд — тоже:

А мы им (кондукторам) ответим студенческим билетом:

Хоть сколько ты кричи, но мы не богачи...

Даже на камские пароходы я (каюсь) шмыгал обычно без билета по трапу мимо зазевавшихся матросов, а потом прятался в трюме IV класса, перебегая с носа на корму и обратно.

Но в Перми-то есть-пить — надо? Любимых поэтов, пусть в дешевых, мягких обложках, купить — надо? Девушку в кино пригласить — надо? Широким жестом предложить ей пирожное-мороженое — надо? (Впрочем, наши всё понимающие девчонки — в отличие от зощенковских аристократок! — обычно отказывались от угощения, а то и нас угощали.) А тут еще и штаны продрались на самом заметном месте... А значит, надо подрабатывать.

«Интеллектуальной» подработки не было: иди разгружать баржи или землю копать. И не пугала нас эта работа, с детства к ней были привычны, только вот студенческая рабочая сила считалась самой дешевой: студентам давали работу, от которой матерые работяги открещивались.

Запомнился самый неудачный наш подряд — копать стометровую канаву вдоль ботанического сада университета. Землекопы-шабашники отказались копать эту канаву даже за 500 рублей, а мы (я и Витя

Шмаков) согласились — за 300! Не догадались мы ковырнуть землю — на этом месте был раньше строительный склад, и под тонким слоем земли были кирпич, цемент, обломки досок. И каждый метр давался с невероятным трудом. А тут осень, дожди, слякоть, но — осилили мы с Витей эту канаву.

Видимо, даже в прорабе совесть заговорила: подрядил он нас вскоре вскапывать клумбы в университетском ботаническом саду и за один день легкой работы под ласковым осенним солнышком заплатил те же 300 рублей — как и за месяц тяжелейшей работы на месте бывшей свалки! Это так нас поразило, что (поверите ли?) мы пошли в бухгалтерию: «А не ошибка ли? Что-то очень много нам начислили!» Бухгалтер успокоил двух молодых идиотов: «Нет, всё в соответствии с существующими расценками!»

* * *

Много-много счастливых минут связано с университетским ботаническим садом — колыбелью нашей. Сад не такой уж большой, но — зачем нужна слишком просторная колыбель? Зато, пусть не такой уж богатый экзотическими растениями, он — уютный, родной, наш. Там мы готовимся к экзаменам, там подрабатываем, вскапывая грядки и цветники, там, ошалевшие от весны и предчувствия счастья, бродим по дорожкам, слушая арию из «Периколы» Оффенбаха («Мой Пепильо, люблю, как люблю я тебя...»), там, перелезши через забор, гуляем по ночам с девчонками.

Помню, весной, когда только появляются листочки на деревьях, смотрим: а не просох ли стол? Это большой деревянный стол слева от входа в сад, и если снег там совсем уж стаял, я, староста группы, иду по велению группы к очередному преподавателю: «Ксения Александровна, а давайте проведем занятие в ботаническом саду!» Преподаватели обычно охотно соглашались, и вот наша группа идет (а кругом весна, солнце, птицы поют!) в ботанический сад, напротив главного здания университета...

Помню еще, как осенью мы с Витей Шмаковым, стараясь обмануть бдительность собак, охраняющих сад, ночью рвем цветы на клумбах (мы-то и в темноте найдем, где что растет, — благо сами это и

высаживали весной) и бросаем цветы в окна девушек и любимых преподавателей. Почему-то мы предпочитали такие вот анонимные подарки, может, следуя песне, не помню чьей (Щипачев? Исаковский?), которую мы любили:

Еще косою острою трава в лугах не скошена,
Еще не вся черемуха к тебе в окошко брошена.
Еще не скоро молодость да с нами распрощается,
Люби, пока да любится, гуляй, пока гуляется...

* * *

«Как я рад, как я рад, что поеду в Ленинград!»

По представлению Пермского научного студенческого общества нас, группу студентов Пермского университета (человек двадцать), направляют на зимние студенческие каникулы в Ленинград. Садимся в поезд Молотов-Ленинград. Мы счастливы, мы веселы. Питание — хлеб с маргарином, сахар, чай. А еще на наше купе была моя банка консервов «лещ в томате» и банка килек, которую прихватила с собой Ляля Попова. Ей-богу, по-моему, ничего больше не было на два с половиной дня пути. Но каждая совместная трапеза — праздник, веселье, смех. Смешило буквально всё. Как, например, всех развеселило небольшое (вроде бы совсем невеселое) происшествие! Иосифа Каца, ехавшего на верхней полке, попросили передвинуть какой-то чемодан. Здоровенный чемодан перетянул маленького Каца, и они оба свалились вниз, на нас. Немножко больно было, но до чего же смешно! А на какой-то станции бригада технического контроля с недоумением смотрит на нас: «Как вы под откос не пошли с такими-то рессорами?!» и пересаживает в другой вагон. И это тоже было смешно.

В поезде по радио сообщили, что в Ленинграде -15 градусов мороза. Мы обрадовались — отогреемся, ведь в Молотове-то перед нашим отъездом было под 40! Но насколько же этот влажный, с ветерком, ленинградский морозишко оказался вьедливее и злее нашего сухого пермского морозища!

Но ведь первая любовь — она мороза и других препятствий не боится! Это я уже о самом Ленинграде. Я однолюб, и эта «любовь с первого взгляда», любовь к Ленинграду, стала для меня и последнею, хотя видел я позднее много прекрасных городов, и Париж даже. Да и от Москвы, в которой мы остановились тогда на обратном пути, я был не в восторге.

И вот капризы судьбы: я почти всю жизнь прожил именно в Москве, чья хаотичность, шум, беспорядочность мне, педанту, сразу не понравились! Наверно, неблагоприятно и неблагоприятно говорить так о Москве, меня приютившей. Но — сердцу не прикажешь. И всю жизнь мне снилось, как я, счастливый, переселился из Москвы в Ленинград...

Я не видал площади более красивой, чем Дворцовая, и памятника, столь прекрасного и любовно, свободно размещенного, чем Медный Всадник. Для меня Петербург — воплощение величия России. Двухвековое татаро-монгольское иго отбросило нас назад и лишило возможности идти каким-то своим, «третьим» путем. И у Петра I хватило мудрости, и жесткости, и — жестокости! — пойти по единственно правильному, «европейскому» пути, пусть крайне тяжелому.

Это понял (правда, не сразу) Алексей Толстой, это мудро, сразу, поняли Ломоносов (*Он Бог, он Бог твой был, Россия!*) и Пушкин, благословляющий петровский Петербург как символ России:

Красуйся, град Петров, и стой
Неколебимо, как Россия...

Но этого не дано понять «великому» скульптору Шемякину, чья издевательская, кощунственная скульптура Петра до сих пор стоит (точнее — сидит) в самой Петропавловской крепости, напротив собора Петра и Павла! Между тем как ее место — где-нибудь на задворках художественного музея, в тупичке скульптур-карикатур. Помню, как (сравнительно недавно уже) гулял я по Петербургу, а потом впервые увидел эту скульптуру. Кто-то сказал, что город — это симфония. Петербург — моя любимая симфония. А тут вдруг — фальшивая,

«визгливая» нота, прямо — ножом по стеклу. Вот уж поистине — Шемякин суд (прошу прощения за дурной каламбур).

Простите, увлекся я...

Поселили нас на Васильевском острове в общежитии Ленинградского университета. Каждый день шли мы через Неву в Эрмитаж, Исаакиевский собор, Русский музей — по льду, пешком (чтобы не платить за проезд). Шли как на работу — часов на 7–8 с коротким перерывом на обед. И, потрясенные, смотрели, смотрели, смотрели, записывали названия особенно понравившихся картин. Угадajte, что нам нравилось? Ну, конечно, реализм — Шишкин, Айвазовский, Левитан, передвижники («Ты посмотри, как каждая складочка на тулупе выписана!»).

А залы XX века, те самые, которые я сейчас в первую очередь осматриваю, приезжая в Петербург, мы тогда пробегали, не стеснясь громко возмущаться «этой мазней».

* * *

На военных сборах, в Бершадских лагерях под Пермью, были мы в студенческие годы дважды, каждый раз по месяцу.

После вторых сборов нас ждали экзамен, довольно строгий, и получение офицерского звания.

Кроме знаний, необходимых будущим пехотным офицерам (тактика, командование взводом в оборонительном и наступательном бою и т. п.), нам давали потянуть и «солдатскую лямку» — преодоление штурмовой полосы, ползание по-пластунски под колючей проволокой, ночные атаки. Трудно, но это нас не пугало. Дали нам и «пороху понюхать»: мы, «бывшие мальчишки», с удовольствием (и неплохо!) стреляли — из пистолета, автомата Калашникова, пулемета Горюнова, бросали боевые гранаты. Еще жива была память войны. Мы сознавали, что в мире немало врагов и теперь уже наш черед бороться с ними. Да и на территории лагеря мне, педанту, даже нравилось: строгий порядок, идеальная чистота.

Но не стал бы я писать об этих сборах (не велико счастье!), если бы не одно ЧП. Вот уж по пословице: «Не было бы счастья, да несчастье помогло!»

В лагере к нам был приставлен немолодой, пузатенький капитан, прошедший всю войну. Помню, учил: «Ты в атаку идешь — не беги прямо, дуриком: „Ура, за Родину!“ Ты виляй, пригибайся! И в траншее тебя не ждут с распростертыми объятьями — нож тебя ждет. Ты и развернуться в тесноте не успеешь, как тебе брюхо вспорют. Ты сначала дорогу себе расчисти, в траншею гранату швырни, только РГД! А Ф-1 не годится — сильна, от тебя самого ничего не оставит». И не был наш капитан солдафоном, напрасно нас не гонял, да и вообще был человек умный, и в перерывах мы с интересом с ним болтали.

Но вот однажды заболел капитан, и отдали нас молоденькому лейтенантику. Тот решил показать этим «студентам-интеллигентам» почем фунт лиха. Нас не удивишь, мы, дети военных лет, не были избалованы, все его распоряжения исполняли беспрекословно, хотя жара тогда была страшная (ну точно за 30!). Помню, просим: «Товарищ лейтенант! Разрешите сходить за водой для взвода!» — «Сходить нельзя, сползть можно!» Желающих ползти до речки попластунски метров 300 (если не больше) не нашлось, и мы, изнывая от жажды, насилу дождались перерыва на обед.

Всё! Идем по пыльной дороге в лагерь. Еще 2–3 километра — и обед, а потом вождеденный послеобеденный отдых в палатках. И тут лейтенантик кричит: «Рота! За-апевай!» Обычно мы охотно орали строевые песни — и старые «Взвейтесь, соколы, орлами, полно горе горевать!..», и новые. Любили переделывать и петь в строю песни и стихи совсем уж не военные, даже пиратские:

Когда мы вновь вернемся в Портленд,
Клянусь: я сам взойду на плаху,
Да только вновь вернуться в Портленд
Не дай нам, Боже, никогда...

Даже детские песни пели. Вот рота, более сотни здоровых глоток, гремит:

На-аша Таня громко плачет,
Уронила в речку мячик.
Тише, тише, Танечка не плачь —

Не утонет в речке мяч!

Помню, пели в строю Киплинга:

День-ночь, день-ночь — мы идем по Африке,
День-ночь, день-ночь — всё по той же Африке.
И только пыль, пыль, пыль — от шагающих сапог!
Отдыха нет на войне солдату...

Но вот в тот день, в том пекле, — какая уж тут песня? Горло пересохло, на зубах песок, лица — серые от пыли. А лейтенант опять: «Р-рота! За-апевай!» Все молчат. «Р-рота! За-апевай!» Все молчат. «Р-рота! Бегом марш!» Сам-то лейтенантик побежал, но рота, окруженная облаком пыли, как шла, так и шла...

Этот самолюбивый дурачок подал начальству лагеря официальный рапорт о нашем неподчинении приказу. А это уже не шутка, начальство должно реагировать. Помню, собрали нас в клубе, и какой-то полковник-политработник гневно клеймил нас за неисполнение приказа: «В масштабе советских вооруженных сил рота — это капля в море! Мы сметем с лица земли мятежную роту!» Понимали мы, что это — красивое преувеличение (все-таки это уже 55-й год, не сталинские времена), но вот не зачесть сборы нам могли. А значит — нет офицерского звания и — ступай солдатом в армию?.. Поэтому мы с облегчением вздохнули, когда наш капитан шепнул нам, что мы отделаемся экзекуцией (думаю, сам и отстоял нас).

На следующий день построили «мятежную роту» на плацу. «Противогазы надеть! Бегом — а-арш!» Каково это — бегать в противогазе — показал Никита Михалков в «Сибирском цирюльнике». Вот кто-то свалился, старшина содрал с него противогаз. Да и нам вскоре приказали: «Рота, стой! Снять противогазы!»

А счастье-то где?! А вот: содрать с лица липкую, обслюнявленную резину, вдохнуть глубоко-глубоко живой воздух. А главное — счастливый следующий день... Опасность остаться без офицерского билета — позади, а впереди — воскресенья, целый свободный день! Каким он казался сказочно длинным! Сразу после завтрака идем на

речку, купаемся, загораем, читаем, играем в карты, стираем свое бельишко и заскорузлые черные портянки. А вечером — кино... Это ли не счастье?!

* * *

После летних каникул разговариваю с любимой моей преподавательницей — Ксенией Александровной Федоровой — о теме моей дипломной работы. Она предложила описание сочинительных союзов в древнерусских текстах. Сразу же захожу в университетскую библиотеку, беру литературу, издания древних текстов, с огромной кипой иду в общежитие. По пути присаживаюсь на скамеечку, открываю толстенную книгу «Духовные и договорные грамоты московских и удельных князей XIV–XVI вв.» и, счастливый, предвкушаю радость погружения в жизнь далеких предков, попытку понять их язык и их мироощущение.

Не могу не сказать хотя бы несколько слов о Ксении Александровне. Кроме того, что она была прекрасным знатоком древнерусского языка и талантливым преподавателем (а это тоже исключительно важно для студентов), она была, при некоторой внешней жесткости, исключительно мягким и добрым человеком. Да вот только одна деталь. В послевоенные годы материально жили мы, студенты, исключительно бедно. Помню, и на занятиях, и в общежитии ходили девочки — в одном и том же платьишке, которое они стирали по ночам, мальчики — в курточке какой-нибудь замызганной, единственной, надетой на майку. Мой друг Витя Шмаков постоянно ходил в тельняшке и форменке — старая, «списанная» форма его брата-моряка. И никого это не удивляло. И все-таки, когда Ксения Александровна увидела мои ботинки, которые не просили, а требовали каши, она решила, что это уж — слишком и опасно для здоровья. Дала деньги нашей старосте, Аиде Седельниковой, и попросила купить мне ботинки, как бы от профсоюзной группы. И узнал я об этом только после смерти Ксении Александровны, смерти очень ранней — от рака. Спасибо за всё, дорогая моя учительница!.. И простите...

В трудные послевоенные годы лингвисты — преподаватели и студенты российских вузов — проделали громадную работу по фиксации того, что под напором городской речи, литературного языка, исчезало буквально на глазах, — народная речь, говоры русского языка. Каждый пединститут или университет снаряжал с этой целью диалектологические экспедиции, которые по строго определенной программе собирали нужные материалы. Задачей было успеть зафиксировать исчезающие языковые особенности и записать как можно больше текстов живой деревенской речи.

Изучать эти материалы можно будет и потом, спустя десятилетия и столетия, но начать-то хотелось прямо сейчас («душа горит»!). Вот и я взял для изучения одно частное явление — оформление творительного падежа множественного числа в говорах Пермской области. Первое ощущение при изучении материалов (а это — несколько битком набитых шкафов!) — полная растерянность. В одной деревне говорят как в городе — *с руками, с полосками*, в другой — *с рукама, с полоскама*, в третьей — *с рукима, с полоскима*, в четвертой — *с рукам, с полоскам*. И я был счастлив, когда удалось упорядочить этот хаос: нанеся сведения на подробную карту Пермской области, я получил довольно четкое разделение территории области на несколько диалектных зон.

И еще приятнее было изучать в уютном зале городской библиотеки Перми историческую литературу и обнаружить, что разделение, полученное при изучении моего языкового явления, хорошо согласуется с историческими данными (даже, может, где-то уточняет их!) и связано с историей заселения Пермской области: на севере области (колонизированном с северо-запада новгородцами и вологодцами) говорят *с рукама, с полосками*, или: *с рукима, с полоскима*; на юге области (колонизированном с запада, позднее, после взятия Казани) — *с рукам, с полоскам*.

А какой радостью в студенческие годы были сами эти диалектологические экспедиции! Ездили дважды в год, в летние и зимние каникулы, обычно двумя отрядами, которыми руководили любимые наши преподаватели — Ксения Александровна Федорова и Франциска Леонтьевна Скитова.

Прибыв на место (мы обследовали тогда север Пермской области — Чердынский и Красновишерский районы), отряд делился на небольшие группки — по два человека, чтобы обследовать побольше деревенских говоров — по заранее установленной сетке (расстояние между обследуемыми пунктами — приблизительно 15–20 километров). Связи между группками не было, так что в случае какого-то происшествия ждать помощи неоткуда. Но хотя это был довольно глухой край, населенный в значительной степени бывшими заключенными, ни одного происшествия не было.

Две экспедиции особенно запомнились.

В зимние каникулы мы с Лерой Азаровой возвращаемся из глухой деревни на севере Пермской области. Очень неохотно, но сельсовет выделяет-таки лошадь, чтобы нам добраться до ближайшего полустанка (до него километров 25). Морозец, но нам не холодно, уютно, мы укутались в теплый тулуп. Мужик почмокивает, покрикивает на лошадь, а мимо медленно проплывают елочки, сосенки, почти касаясь нас заснеженными ветвями. А потом мужик вдруг останавливается и, указывая кнутом на крупные глубокие следы, с почтительным испугом говорит: «Глянь-ко! Ведь медвежий след-от! И свежий совсем! Чо это ему не спится?» И опасливо оглядываясь, погоняет лошаденку.

Другая диалектологическая экспедиция, уже летом. Помню только ее начало и конец.

Начало — очень эффектное. Было это в 1955-м, после «великой амнистии», когда по решению Верховного Совета СССР, возглавляемого Ворошиловым, из лагерей выпустили многих заключенных, в том числе и массу матерых уголовников («ворошиловцев»).

На севере Пермской области лагерей было немало, и вот в каком-то поселке мы, студенты, садимся в кузов грузовика, и вместе с нами садятся несколько здоровенных мужиков весьма подозрительного

вида. Выехали за поселок. Они вежливо представились: «А мы — ворошиловцы!»

А один, видимо, вожак, громадный, лохматый, слегка пьяный, богато украшенный татуировкой, «с неподдельной гордостью» пробасил: «Я — Васька Орлов, бандит первой гильдии по всему Советскому Союзу!» А мы, жиденские студентишки, только посмеиваемся — романтика! Помню, однако, как напряглась сидевшая со мной рядом руководитель группы — Франциска Леонтьевна. Но всё кончилось благополучно: уголовнички были в благодушном настроении, и мы с ними мирно болтали, не помню о чем.

А возвращались из экспедиции на станцию мы вдвоем с Лялей Поповой (сейчас — профессор Пермского университета Елена Николаевна Полякова) пешком по лесной песчаной дороге. И думать не думали ни о каких «ворошиловцах»! Сосны, голубое небо. Позади — деревни, беседы с деревенскими бабками (женщины почему-то были гораздо лучшим объектом лингвистических наблюдений, чем мужчины); позади какие-то наши первые (но, конечно, важные) лингвистические открытия. Ну как же: плох тот солдат, который не мечтает стать генералом! Впереди — Пермь, университетские друзья, а потом — поездка на родину, в Воткинск, встреча со школьными друзьями. Читаем стихи, поем. И, конечно, снова — любимые песни на стихи Есенина (иногда слегка переделанные):

Пейте, пойте в юности, друзья.
Бейте в жизнь без промаха!
Всё равно любимая моя
Отцветет черемухой...

А вывод-то какой? Скучный и тривиальный: счастье — это молодость! Спасибо, что она была — трудная, но счастливая...

Нет, не так всё грустно! Ведь и воспоминания о счастье — тоже счастье! И встречи со старыми друзьями, которые делят с тобой эти воспоминания, — тоже счастье!.. И самое большое счастье — видеть, как твоя молодость, как феникс из пепла (простите за высшее сравнение), воскресает в твоих детях...

Москва

1980, 2000–2002 зз.

ИЛЛЮСТРАЦИИ



*Тетя Толя (моя крестная мать), дядя Ваня, двоюродные сестры
Нюра и Тася, 1940*



В кругу родных (дедушка Аким Никитьевич, бабушка Устинья с сестрой Аллой на руках, крайние справа — я и мама), 1940



Любимые двоюродные сестры: Тася, Люба, Нюра, 1937



Дядя Саша, рабфаковец 30-х годов



Почти весь семейный клан в сборе, 1940



*Здание Пермского университета, бывший ночлежный дом купца
Н. В. Мешкова, 1950-е гг.*



Филологи. Наш выпуск, 1955



Студенческая «коммуна» обедает, 1954



С другом В. Шмаковым на работе в Ботаническое саду



На военных сборах, 1955



На первомайской демонстрации



*На север Пермской области в диалектологическую экспедицию,
1954*



*Лингвистическая часть нашего курса с преподавателями
И. М. Захаровым (в центре), Ф. Л. Скитовой (сидит крайняя слева)
и К. А. Федоровой (третья слева), 1955*